



ОГОНЁК

**Вадим
КОЖЕВНИКОВ**



**Нора
АДАМЯН**

**Юрий
НАГИБИН**



**Михаил
КОЛОСОВ**

**Сергей
ЗАЛЫГИН**

ПЯТЬ РАССКАЗОВ

ПЯТЬ РАССКАЗОВ

СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ,
ПУБЛИКОВАВШИЕСЯ
НА СТРАНИЦАХ «ОГОНЬКА»

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

АДАМЯН Нора Георгиевна родилась в Баку. Живет в Москве. Автор сборников повестей и рассказов «У синих гор» (1957), «Девушка из министерства» (1959), «Новый сосед» (1964); романа «Вторая жена» (1967); повестей «Ноль — три» (1963), «Красный свет» (1975), «Трое под одной крышей» (1981) и др.

ЗАЛЫГИН Сергей Павлович родился в 1913 году в селе Дурасовка под Стерлитамаком. Автор романов «Соленая падь» (1967), «Южноамериканский вариант» (1973), «Комиссия» (1975), «После бури» (1982) и др.; повестей «На Иргыше» (1964), «Наши лошади» (1971) и др.

КОЖЕВНИКОВ Вадим Михайлович родился в 1909 году в городе Нарым (ныне Томской области). Автор сборников рассказов «Март — апрель» (1942), «Любимые товарищи» (1943), «Дорогами войны» (1955) и др.; романов «Заре навстречу» (1956—1957), «Щит и меч» (1965) и др.; повестей «Знакомьтесь, Балуев» (1960), «День летящий» (1962), «Петр Рябинкин» (1968), «Особое подразделение» (1969), «В полдень на солнечной стороне» (1973) и др.

КОЛОСОВ Михаил Макарович родился в 1923 году в городе Авдеевка Донецкой области. Автор книг «Голуби» (1954), «Бахмутский шлях» (1956), «Мальчишка» (1963), «Яшкина одиссея» (1969), «Карповы эпопеи» (1971), «Срубили белую акацию» (1974), «Три куля черных сугарей» (1979), «Три круга войны» (1981) и др.

НАГИБИН Юрий Маркович родился в 1920 году в Москве. Автор сборников рассказов «Зерно жизни» (1948), «Зимний дуб» (1955), «Чистые пруды» (1962), «Далекое и близкое» (1965), «На тихом озере» (1966), «Переулки моего детства» (1970), «Царкосельское утро» (1979) и др.; повестей «Трудное счастье», «Павлик», «На кордоне», «Далеко от войны» и др.; сценариев фильмов «Председатель», «Ночной гость», «Бабье царство», «Директор» и др.

ПАМЯТЬ

Письмо было как письмо, как многие другие, которые регулярно присылала ему мать, — пространное, с подробными деталями о всех событиях, случившихся в поселке: кто приехал, кто уехал, кто женился, кто развелся, кто умер. События важные, но с годами они трогали Гурина все меньше. Во-первых, он был уже не молод, чтобы удивляться таким новостям — повидал на своем веку и того и другого и теперь относился и к рождению и к смерти философски: такова жизнь... Во-вторых, происходило все это где-то далеко и случилось это с людьми для него в общем-то чужими. Умирили старики, а женились и разводились люди уже третьего поколения, их Гурин и совсем не знал.

А мать пишет, пишет обо всех, подробно рассказывает, объясняет, чьи это дети, чтобы он хоть по родителям смог представить себе, кто они. Но за долгие годы разлуки он даже своих сверстников стал забывать...

В последнее время о свадьбах писалось, правда, все реже и реже, но зато чаще шли новости о смертях. Умерла соседка через дорогу, старуха Неботова, и мать до мелочей описала эти похороны: кто был на них, что было, какие богатые поминки устраивались — все это она знала, видела, тем более что ей самой пришлось помогать там готовить.

Печально, конечно, но ведь старухе было уже за восемьдесят, уже сама Катерина Неботова, дочь ее, давно бабкой стала. Прочитал Гурин письмо, попытался вспомнить эту старуху, да так и не вспомнил: совместились она каким-то образом с самой Катериной, которую он видел в последний свой приезд года три тому назад.

Следующий снаряд упал ближе: умерла тетка Ульяна — крестная Гурина. От этого письма повеяло на него холодком: не ожидал. Хотя и была Ульяна тоже уже не молода и болела долго, последние годы лежала парализованная, но не ожидал, не представлял он себе мир без нее. Она ведь для Гуриных была, по существу, второй матерью. Оставшись вдовой, мать Гурина пошла работать, а за домом и детьми присматривала она, Ульяна. Так же, как и своих, она кормила их и так же гоняла хворостиной за провинности.

Умерла крестная... Жаль, не сообщили вовремя, он, пожалуй, съездил бы на похороны. Остался дядя Карпо один. Как он там?

«Плохо Карпу, — отвечала мать. — Один, мужик... Да и не молодой уже. Хворает. Постирать што или прибрать в хате помогаю. А готовит он себе сам, умеет...»

«Подбираются старики... — подумал грустно Гурин. — Лучше бы они жили: с ними все-таки чувствуешь себя безопасней, вроде есть какой-то заслон. А уйдут — и все, уже никакого прикрытия, останешься крайним... Над обрывом...»

Однако скорбел Гурин недолго, жизнь быстро заволокла эту гечаль, затмила она и грустные мысли, навеянные смертью крестной.

Но прошло немного времени, и вот новое письмо и очередная новость: «Захворал Карпо, ноги совсем отказываются ходить. Вчерас приехал Никита на своем «Москвиче» и увез его к себе на шахту. А хату — ставни заколотил, двери на замок закрыл, ворота проволокой закрутил, Жучка ко мне привел, привязал возле порога. Попросил: «Поглядите на наш двор... Весной приедем огород сажать». Я вышла с Карпом попрощаться, а он сидит в машине и плачет. «Ну, чего ты? — говорю. — Тебе ж там лучше будет: догляд...» «Кому я нужен?.. Будет она за мной ухаживать?.. Разве забыла, как колотились?» «Тогда она молодая была. Теперь же она обкаталась, уже у самой дети вон какие, сама бабушка». «Была б Ульяна жива...» «Ну, где ж ее возьмешь?.. Не плачь, может, все хорошо будет. А не уживешься — приедешь обратно. Поживи, сколько сможешь». «Да то ж так и Микита говорит». Нагнул голову и опять плачет. Так и уехал. А я вернулась в хату и тоже в слезы. То ли Карпа стало жалко, то ли себя. Ульяну вспомнила. Могла б еще пожить, она моложе Карпа. Хотя какая у нее уже жисть была? Мучилась. Ото я больше всего боюсь, ежели и у меня руки-ноги откажут. Кому я буду нужна обузой? Но пока бегаю. А теперь вот даже на два двора одна осталась...»

«Увезли Карпа... дом заколочен... Все, пустота...» Представил себе эту картину Гурин, и сердце его сдавилось такой тоской, что он сжал кулаки до хруста в суставах, уложил на них голову и долго блуждал мыслями по родному поселку. «Что же это делается? Почему она такая жестокая — жизнь? Нет, не жизнь, время. Время все жует, это время все перемальвает... Спешит, торопится, и мы куда-то торопимся вместе с ним. А куда? Оказывается, к своему концу... Вот и мать уже стара и немощна, не за горами тот день, когда и ее не станет, и наш двор опустеет, и хата будет стоять заколоченной. Наш дом... Тот дом и тот двор, где когда-то так кипела жизнь! Наша жизнь! Моя! Я там был... И вдруг ничего, пустота... Нет, нет, это жестоко... Если человеку не дано бессмертия, зачем тогда ему даден разум? Сознать и двигаться к небытию — это жестоко, очень жестоко!.. Придумали себе малоуважаемую философию: человек, мол, бессмертен в делах своих и в памяти потомков. Ох, уж эти потомки! Представляю, какую

войну со своей благоверной выдержал Никита, прежде чем решился взять к себе отца. Да и какие баталии еще предстоят впереди! И как все облегченно вздохнут, когда Карпа не станет. И, стыдясь своих таких действий, они постараются поскорее забыть его, чтобы вместе с ним забыть и все свои неприглядные дела, связанные с предком. Потомки!..»

И вдруг как током ударило, будто кто-то рядом стоял и возразил: «Легко судить других. Сам-то ты?.. Много ли ты сделал, чтобы память твоего отца жила? Ты ведь даже не знаешь толком, где его могила. И у матери уже больше трех лет не был. А возраст у нее критический, можешь и опоздать...»

Отец!.. Вот оно откуда, все усиливающееся с годами чувство вины! А ведь сколько раз он порывался оживить память об отце, но всякий раз что-то мешало, и отец оставался все в большем и большем забвении.

Правда, у него, у сына, есть много объяснений такому забвению. Нет, не забвению, а такому... отношению. И не отношению, а тому, как оно сложилось.

Отец умер рано, когда Гурину было около пяти, Танюшке — три года, а Алешка — тот и совсем безотцовщина: через два месяца после смерти отца родился.

Жизнь была тяжелой, а если сказать точнее, так была она просто нищенской: мать работала, тянулась изо всех сил, чтобы поднять на ноги детей. И хотя редкий день выпадал, когда они были сыты, она тем не менее старалась, чтобы дети еще и учились. И, естественно, об отце вспоминали лишь в связи со своим бедственным положением: вот если бы был жив отец, им бы дали рабочую карточку, и продуктов они получали бы намного больше. Особенно хлеба. Или мать иногда сетовала: «Бросил нас, а теперь вот мучайся одна с вами». Став постарше, Гурин иногда возражал: «Что же он, нарочно это? Как будто он жить не хотел?...» «Хотел! Еще как хотел! Хату собирался перестроить: камню на фундамент заготовил, черепицы купил... и не успел...»

Гурин еще десятилетку кончал, когда началась война. И опять мытарства: оккупация, фронт. Для него — фронт, а для остальных голодная жизнь, работа и постоянная тревога за него: что принесет почтальон — то ли письмо, то ли похоронку. К счастью, он приносил письма то с передовой, то из госпиталя, то опять с фронта, то снова из госпиталя. И так до мая сорок пятого. Лишь в сорок седьмом он вернулся домой и сразу окунулся в круговерть трудной послевоенной жизни: работа — учеба — работа — учеба — работа... Когда тут было думать об отце, давно умершем? Особенно Татьяне и Алексею? Татьяна вряд ли вообще помнила что-либо об отце, а для Алексея так он вообще как бы и не существовал. Сам Гурин, правда, помнит несколько эпизодов из той, далекой жизни, что связана с отцом, да и то

иногда сомневается: помнит ли? А может, это так живо отложились в его впечатлительном мозгу поздние рассказы матери об отце?..

«Оправдался?»

«Да нет, не оправдываюсь я. Просто восстанавливаю события.»

«Вот и восстанавливай. Дальше восстанавливай. Наступило ведь время, когда вы все трое прочно определились в жизни: образовались, обзавелись семьями, получили хорошие должности...»

«Но мы ведь уже жили далеко от родины...»

«Да, вы с братом уехали в другие города, сестра вышла замуж, а мать осталась одна. Правда, сестра ей потом подбросила внучку от первого мужа, так что мать не скучала. А сейчас она уже стала совсем старенькой и немощной. И — одна...»

«Но мы навещаем ее. Я навещал и помогаю — каждый месяц посылаю ей переводы...»

«Откупаешься. Но не будем спорить. А об отце совсем забыли?»

«Нет, не забыли. Я не забывал. Я часто вспоминаю его, и меня совесть мучила...»

«Мучила, верно. Но не очень. Правда, ты всякий раз, собираясь к матери, намечал посетить отцову могилу. Да не просто посетить, а обиходить ее, может быть, даже поставить на ней какой-то памятник...»

«Да, именно так! И сейчас эта мысль не оставляет меня: надо что-то сделать».

«Надо. Но ты ведь до сих пор так ничего и не сделал? В каждый приезд свой ты, сойдя с поезда, тут же забывал об отце: друзья детства, многочисленные родственники, хождение по гостям занимали все твое время. Ходил, демонстрировал перед земляками свой успех, свое благополучие...»

«Ничего я не демонстрировал! Просто я считал своим долгом известить всех или принять у себя, иначе меня сочли бы за гордыню, зазнайку. А мне этого не хотелось».

«Для отца же так и не выбралось времени?»

«Не выбралось... Стыдно! И надо это дело сворачивать, пока не поздно. Завтра же подам заявление — возьму свои фронтные две недели и поеду. Поеду и все сделаю! Прости, отец...»

На другой день Гурин действительно подал заявление на отпуск, послал телеграмму брату, чтобы и тот к такому-то дню обязательно приехал к матери, стал собираться в дорогу.

В пути ему не сиделось в купе, стоял в коридоре у окна, смотрел на пробегавшие мимо деревни, перелески, а мыслями был уже там, дома, у матери. Думал, как удивится и растрогается мать таким его благородным намерениям, как он сначала окопает отцовскую могилку, а потом все вместе обсудят все и поедут они с Алексеем в город и закажут там памятник. «Скромный, но со вкусом. Это Алексей пусть выбирает — у него, должно, осталась художественная

жилка. Оградку тоже надо заказать. Правда, у нас ни оградки, ни памятники не заведены, помнится, на кладбище были одни кресты — деревянные да каменные, а больше железные, сваренные из труб или склепанные из разных прутьев. Даже из рельсов. Будет наш памятник выделяться, нехорошо... Хотя... когда это было! Теперь-то, наверное, и в этом деле там культура поднялась. А если нет? Все равно сделаем! Скромный, но со вкусом. Пусть он будет первым, это даже и лучше. Кому-то же надо начать? Вот мы и начнем. Низкий такой обелиск... Нет, не обелиск. Гранитная плита в виде... в виде спинки от кровати... Нет, никакой вычурности. Простая плита, стоящая на ребре. На ней фарфоровая фотография отца и подпись. Надпись тоже простая: «Гурин Кузьма Сазонович. 1898—1929». И все. На обороте можно написать от кого.

«От любящих детей: Василия, Татьяны, Алексея». По возрасту. А что же мать? Надо и от нее: «От жены и любящих детей...» А разве мать нелюбящая? Как раз она-то и есть самая любящая. «От любящей жены Гуриной Анны Павловны и детей...» Теперь получается — дети нелюбящие? А зачем, собственно, выставлять напоказ свою любовь? Сооружение памятника — разве не выражение любви? Напишем просто:

«От жены и детей
Гуриной Анны Павловны
Василия
Татьяны
Алексея».

Вот так, в столбик и без никаких знаков препинания».

Гурин зрительно представил эту надпись на гладкой гранитной «спине» памятника, остался доволен, будто приобщился к вечности. Хотел было записать в блокнот, чтобы не забыть, похлопал себя по карманам — блокнота не оказалось, остался в пиджаке, но идти за ним в купе не захотел, решил так запомнить: текст-то простой...

У поезда Гурина встретила племянница Ольга, Татьянина дочь, с мужем Сергеем и шестилетней дочерью Светланкой. Ольга черноглазая, высокая, но, по мнению Гурина, ей неплохо было бы немножко пополнеть, а то тонка, как тростинка.

— Ты что же такая худая? — спросил он. — Муж не кормит?

— Сама ест, — отозвался Сергей и, подхватив гуринский чемодан, заспешил вперед, к машине.

— Ветер подует — переломишься, — пошутил Гурин.

Светланка, белобоящая, в отца, с бантом на голове, поглядывая на гостя с детским любопытством, ловила каждое его слово. «Шустра!» — Он привлек ее к себе, потрепал ласково за плечо.

— В школу еще не ходишь?

— Осенью пойду.
— Не дождешься, наверное? Хочется поскорее?..
— Не-е,— решительно сказала та.— Совсем не хочется.
Гурин от неожиданности даже остановился.
— Вот те на! Но учиться-то надо?
— Надо. А я и не отказываюсь: я буду учиться.
— И на том спасибо.— Увидел издали, как Сергей укладывал чемодан в багажник, спросил у Ольги:
— У вас своя машина?
— Откуда! Это Сергей у отца выпросил вас встретить. Обычно он ему не дает ее.
— Почему? Такой жадный у тебя свекор?
— Нет, он не жадный. Просто...
Светланка дернула мать за руку, недовольно предупредила:
— Мама-а!..
— Не буду, не буду, успокойся.— И засмеялась: — Защищает отца.

Гурин догадался, а потом и вспомнил, что когда-то сестра жаловалась ему в письме на зятя: пьет,— и не стал больше задавать вопросы.

Подожли к машине, он с трудом втиснулся на переднее сиденье старенького «Москвичонка», поехали. Дорогой поглядывал на Сергея, искал в нем признаки алкоголика и не находил: симпатичный парень, крепкий, красивое лицо. «А ведь пьет... Жаль... Очень быстро одряхлеет. Семью развалит. Жаль... Выберу момент, поговорю с ним...»

Мать стояла напротив своих ворот почти на середине дороги, нетерпеливо всматриваясь в даль улицы. Гурин заметил ее сразу, как только вывернули из-за поворота. Увидев машину, она всплеснула руками, зачем-то оглянулась на свой двор и медленно пошла навстречу. Чтобы не наехать на нее, Сергей вынужден был остановиться почти у Карповых ворот, заметив:

— Во, баба Нюра! И машины не боится!

Гурин невольно взглянул на Карпову хату, и жутью повеяло на него от нежной пустоты этого дома: в радостный солнечный день видеть наглухо закрытые ворота, ставни на запорах и на всем появляющиеся уже признаки запустения было неприятно. «Рядом и жить-то страшно...» — подумал Гурин.

Торопливо открыв дверцу, вышел из машины, обнял мать — седенькую, худенькую, с непокрытой головой, в длинном, обвисшем на усохшем теле платье, повел ее, обняв за плечи, во двор, дивясь про себя: «Как она постарела... И меньше стала...» Спросил:

— Что так исхудали? Харчей не хватает?
— Хватает!
— Болеете?

— Слава богу, нет. Просто, сынок, время пришло уже увядать мне...

— Ну-ну! Рано!

Неопределенного цвета кудлатый, злобный и трусливый песик, не вылезая из конуры, неистово лаял на Гурина, пока мать не прикрикнула на него:

— Да цыц ты! Звягучий какой! — И к сыну: — Это Карпов, мне оставили.

— А как он сам там?

— Карпо? Ничего. Привозил его тут как-то Никита. Ничего, повеселел. Невесткой доволен.

Пес перестал лаять, однако глаза его по-прежнему были злы, и он, не переставая, сердито рычал, готовый в любой момент броситься на гостя. Гурин на всякий случай обошел конуру.

— Не бойся: он только шумливый, а не кусачий, — сказала мать. В комнате спросила: — А ты што так неожиданно приехал? Да хотя ты всегда приезжал неожиданно...

— Соскучился.

— Да и пора: четвертый год ведь не был на родине.

— Неужели четвертый? Время-то как летит!

— Не ждет, — согласилась мать. — Раздевайся, теперь ты дома.

— Дома! — Он раскинул руки, оглядывая комнату. — Дома!..

Вскоре пришла Татьяна, сестра Гурина, принесла тяжелую, набитую разной снедью сумку. Она с год как ушла на пенсию, но выглядела еще совсем молодо, бодро, голос веселый.

— А тебе пенсия, вижу, на пользу пошла! — сказал Гурин сестре, кивая на ее фигуру: — Гляди, как раздобрела!

— Теперь мне ветер в спину! Только и забот: Ивана накорми да поросенку вовремя вынеси.

— Держишь поросят?

— А как же? Мы сознательные: Продовольственную программу помогаем выполнять.

— Молодцы! А я уж думал, что ни свежатинки, ни колбаски домашней и попробовать не придется.

— Придется, попробуешь! — сказала сестра и стала выгружать на стол содержимое сумки, наказывая матери, куда что девать: — Это в погреб, это в чулан, а это на кухню — сейчас будем варить холодец. Это тоже на кухню — сделаем его любимой картошки на сале и с мясом. Это помидоры, на стол. Это тоже на стол. Иван купил, наш «Кристалл». Говорят, будто из антрацита делают. Да, думаю, болтают: разве можно из такого твердого камня выжать водку? А может, и научились уже...

Вечером, когда они остались вдвоем, мать спросила:

— Едешь куда или возвращаешься?

— Да нет же! Специально к вам.

— Надолго?

— На две недели.

— О! — обрадовалась она. — Хорошо!

— Завтра Алексей придет.

— И Алеша? — Мать насторожилась. — Ты вызвал? Значит, дело какое-то затеваете? — Гурин кивнул. — Меня будете определять куда-то? Не надо, не трогайте меня с места: я ишо пока сама себя обробляю...

— Не беспокойтесь, мама: не тронем, пока сами не скажете. Мы же договорились: станет немоготу — к кому хотите, ко мне или к Алексею, пожалуйста.

— Что же вы тогда затеяли? Крыльцо починить?

— Посмотрим, может, и починим. — Он решил пока ничего ей не говорить о своей «затее». — Просто давно не собирались вместе.

— Будем родню собирать? На какой день?

— Пока не будем... Вот придет Алексей — решим... — Как бы между прочим спросил, окинув стены с увеличенными фотографиями: — А вроде ж была и отцова?

— Была...

— И что? Не сохранилась? — забеспокоился он.

— Должна быть целой? прибирала. Она совсем плохой стала: пожелтела, потрескалась. Черепица прохудилась, дождь пошел, промочил потолок, и на карточку попало. Сняла, хотела переснять отдать, да так и не отдала. Раньше по дворам ходили, спрашивали: не надо ли кого увеличить? А теперь самой надо ехать в город, искать, где там делают их, такие карточки. Не соберусь никак. Тяжелой на подъем стала. Да и боюсь я уже города: там суетня большая, машин много. Кого-то просить надо...

— Далеко спрятали? Найти можно?

— Сейчас, што ли? Поздно уже шукать. В чулане где-то, там все фотокарточки... Завтра найдем. Спать ложись.

— Не хочется. Пойду пороюсь, может, найду.

— Че так загорелось? Раньше и не вспоминал...

— Посмотреть. Забывать стал его лицо. Пойду. Там свет есть?

— Есть. Вспомнил отца, надо же... Сюда принеси, и я с тобой погляжу на него. — Вдгонку крикнула: — На полке, в картонной коробке смотри — там были. — Оставшись одна, продолжала раздумчиво: — Если не перехоронила куда... Память никудышная стала: как положу што на новое место, потом не вспомню и не найду, пока случайно не наткнусь.

На другой день утром приехал Алексей. Как всегда, быстрый, верткий, шумный, он вошел в дом с веселой прибауткой, на ходу успел незаметно дернуть за бантик Светланку, здороваясь, каждому отпускал какую-нибудь шутку. Под конец выдохнул громко, будто вынырнул из глубины, огляделся:

— Ну, со всеми поздоровался? Или еще кто остался? — пожаловался брату: — Еле вырвался. Как раз время такое... Пришлось врать, изворачиваться... А я ж не люблю это. С трудом на три дня отпустили. Что там у тебя, чего ты всполошился?

— Потом... — сказал Гурин.

Только после завтрака он решил собрать всех и открыть свои планы. Мать и Татьяна возились в летней кухне, Гурин послал за ними Светланку, наказав:

— Пусть все бросят и идут сюда. — И когда все собрались, он, ни на кого не глядя, начал: — Меня последнее время мучает совесть из-за отца. Мы совсем его забыли...

— А я его и не знал, — сказал Алексей.

— Тем не менее он был. Вот он. — Гурин поставил, прислонив к вазочке для цветов, пожелтевшую фотографию. — Это наш отец.

Татьяна спокойно ждала, что он скажет еще, а мать, высвободив из-под платка ухо, напряженно слушала, силилась понять, о чем идет речь, но пока ничего не понимала.

— Надо нам память о нем как-то оживить... Вспомнить и помнить всегда... — продолжил Гурин.

— У него что, день рождения? Круглая дата? — спросил Алексей.

— Нет... Наверное, нет... — Он посмотрел на мать, та молчала, и он сказал: — Не знаю... Но не в этом дело. Разве только по круглым датам надо помнить своих родных?

— Не понимаю, что ты хочешь... Говори толком, — сказал Алексей.

— Я хочу ему сделать памятник.

— Памятник? — Алексей криво усмехнулся. — Обнаружилось, что он что-то совершил?

— Перестань! — строго крикнул на брата Гурин. — Ничего не обнаружилось, кроме того, что он наш отец. Этого, думаю, достаточно, чтобы мы, дети его, чттили отца.

— Вспомнил! Кому это нужно?

— Это нужно мне, тебе! Детям нашим! Им вот! — Гурин указал на присмирившую Светланку. — Что же мы живем, как Иваны, не помнящие родства? Из двух бабушек мы иногда вспоминаем одну, и то к слову когда. А из дедушек — ни об одном понятия не имеем. Отца своего совсем забыли. Так же и они нас будут «помнить»... — кивнул на Светлану.

— Это еще хорошо, если так... — сказал Алексей. — Моих дочек вон курсанты растащили по стране. Две аж на Дальнем Востоке. Для внуков ведь там уже их родина? Нужен им дед, которого они и видели-то всего несколько раз?

— Ну, и хорошо это?

— Но жизнь такая.

— При чем тут жизнь? Это мы такие — черствые, жесткие. «Материалистами» стали, духовное же растеряли и теперь ищем

разные оправдания, на жизнь сваливаем. Раньше люди помнили своих предков до десятого колена.

— Какие люди? Аристократы? А простые люди — до этого им было?

— Но теперь-то до этого? Почему же аристократам можно было вести свое родословное древо, а простому человеку вроде это и ни к чему? Предки — это часть нашей родины. Притом большая часть.

— Да все правильно, что ты меня агитируешь? Разве я против? Но жизнь у нас была суровой, не до этого было.

Мать оглянулась на Татьяну, спросила вполголоса:

— О чем они спорят? Никак не пойму...

— Вася хочет отцу памятник поставить, — сказала та громко ей прямо в ухо.

— Памятник? Кузьме? — удивилась мать, и глаза ее наполнились слезами. — А где ж вы его поставите? Во дворе? В саду, правда, можно...

— Почему во дворе? — недовольно заворчал Гурин. — На могиле.

— На могиле? А найдешь ты ее?

— Найду! — И, оживившись, он стал вспоминать: — Я как сейчас помню, где она. Тропкой надо пройти посередине кладбища, дойти до впадинки и свернуть налево наискосок, и вот она — на бугорке. В левом дальнем углу ее надо искать. Верно?

— Верно... — кивнула мать. — Да только теперь трудно шукать, там и погоста уже того сколько годов нету. Ликвидировали давно.

— Как ликвидировали? — вспыхнул Гурин.

— Сразу после войны еще. Объявили запрет, в центре города погост оказался, открыли новый. А на старом, сказали, тридцать лет ни хоронить, ни строить ничего нельзя. Кто хочет — может своих перенести. Кой-кто переносили. А мне не до того было: голод, разорение. Ты еще в армии служил, в Германии, Алеша учился в Киеве, а Таня то ли в школу ходила, то ли уже бросила учебу, работать пошла.

— Работала уже... — подсказала Татьяна.

— Да, работала. А кроме того, думалось: «Тридцать лет! Успею». Успею, успею, да так и по сю пору... Да там и переносить, наверно, уже нечего было — годов-то сколько прошло.

— Н-да... — только и сказал Гурин. Подумав с минуту, встал, обратил к Алексею: — Пойдем, посмотрим?

— Куда?

— На кладбище.

Тот молча повиновался.

Подойдя к месту бывшего кладбища, Гурин остановился, прикидывая, куда идти. Канавки, которая когда-то вместо ограды окаймляла «вечный покой», не оказалось, вместо нее в обе стороны тянулась накатанная асфальтированная дорога. За дорогой веселые

домики с палисадниками. Присмотревшись, он увидел между ними проулок, кивнул брату, и они пошли по этому проулку дальше.

— Странный народ,— покрутил головой Гурин.— На кладбище живут.

За огородами начинался пустырь, Гурин приободрился, прибавил шагу и вдруг остановился:

— Вот эта лощина! Я же помню! От нее теперь надо идти вверх по диагонали. И вот за теми акациями будет могила отца.

— Тут от могил уже никаких и следов не осталось,— сказал Алексей.

— Я тебе точно покажу, где она!

Но не успели они сделать и десятка шагов, как за пыльными ветками старых акаций замаячило какое-то красное строение. Вышли за посадку и увидели длинный двухэтажный кирпичный жилой дом. Гурин сразу почувствовал усталость, покрылся испариной, остановился, поискал, на что бы присесть, и, не найдя ничего подходящего, прислонился плечом к шершавому стволу акации.

— Ну, что? — подошел к нему Алексей.

— Опоздали... — сказал Гурин.— Вон там, под этим домом...

Долго молчали, наконец Алексей спросил:

— И что теперь?.. Пойдем домой?

Гурин не ответил, смотрел, потупясь, в землю. Наконец поднял голову:

— Ну, а... символический перенос праха можно же сделать? Взять отсюда сколько-то земли и захоронить ее на новом кладбище. И там поставить памятник, оградку? А? Можно так? — наступал Гурин на брата.

— Можно,— сказал Алексей.— Все можно... Только...

— Ну, так давай сделаем?

— Давай...

...Обратно в Москву Гурин ехал один в купе, и это было как нельзя кстати. Настроение у него было паршивое, удовлетворения от содеянного он не ощущал. А тут еще вагон попался какой-то разболтанный, и купе оказалось как раз над колесной парой, и под полом так громыхало, так било на стыках, что он с трудом удерживался на диване. Где-то за Курском полотно дороги пошло ровнее, удары прекратились, и он решил уснуть. Но мысли снова и снова возвращались в родной дом, к матери. «Добро ли сделали? — мучился он вопросом.— Или только людей насмешили — землю захоронили?.. А мать обрадовалась... Но чему? Увидела оградку, сказала: «Ой, как красиво! Вот теперь я буду знать, где мое место: меня в этой оградке похороните... — И не совсем уверенно добавила: — Рядом с Кузьмой...» Скорее всего хотела поддержать нашу затею: ведь она хорошо знает, что никакого Кузьмы там нет...»

А под полом вагона бесконечно шуршало и на стыках рельсов как-то четко выговаривалось: «Опоз-дал... опоз-дал... опоз-дал...»

Юрий НАГИБИН

ЕЩЕ РАЗ О БОЕ БЫКОВ

Кто только не писал о корриде: Проспер Мериме, Бласко Ибаньес, Эрнест Хемингуэй — имена самых прославленных, имя всем остальным — легион. И художники не обходили вниманием бой быков: Гойя создал знаменитую графическую серию «Тавромахия», ряд живописных полотен, Пикассо всю жизнь рисовал тореадоров и быков. Первый вопрос человеку, побывавшему в Испании: «На бой быков ходили?» Уже потом могут спросить о Гойе, Веласкесе, Эль Греко, национальном танце фламенко и Толедо, Севилье и серенадах. И я не избежал общей участи, вернувшись из страны Сервантеса: ну как, видел живых тореадоров? Видел, видел! Чуть не целое представление высидел в мадридском цирке — четыре боя из шести положенных, но больше меня на корриду не заманишь. Почему? Вот об этом и поговорим.

В 1830 году Проспер Мериме писал из Мадрида: «Бой быков все еще пользуется фавором в Испании, но среди представителей высших классов редко кто не испытывает некоторого стыда, признаваясь в пристрастии к подобного рода зрелищу». Из приведенных слов видно, что Мериме предвидел скорое угасание корриды: средние классы, как всегда, потянутся из духа подражания за высшими, и бой быков или выродится в зрелище для бедных, или вообще прекратится. Но минуло полтора столетия с письма Мериме, а коррида не думает спускать флаг, все так же гремит и сверкает ежегодный праздник Памплоны, так же полны до отказа цирки, а среди зрителей и министры, и генералы, и крупные чиновники, богачи и знать, профессора, деятели искусств. Если зрелище демократизировалось, то лишь в той степени, что и само общество. Неизмеримо расширилась география корриды, охватив всю Латинскую Америку. Обоюдоострая шпага матадоров сверкает в Италии и Франции. И все же бой быков в этих странах не очень привился вопреки всем усилиям блистательного матадора и очень волевого человека Луиса Мигеля Домингина, который был одержим идеей распространить корриду по всему миру.

Любопытно, что коррида имеет настоящий успех там, где звучит испанская речь, в землях, где сделана прививка испанской крови, что естественно сказывается на обычаях и нравах, на пристрастиях и всем стиле жизни. Будь дело только в огненном испанском темпераменте,

Италия непременно стала бы второй родиной корриды. Но даже женитьба лучшего матадора Испании Домингина на первой итальянской красавице Лючии Бозе не превратила итальянцев в рьяных поклонников боя быков. Футбол, родившийся в Англии, давно забыл о своих корнях и стал интернациональным, всемирным безумием. Коррида осталась испанской. Надо полагать, это жестокое, острое зрелище чему-то соответствует в психологии народа.

Суровые горы, шашетывающие завоевателей и беспощадная борьба с ними формировали характер нации. Средние века, которые ныне так превозносят на Западе над языческим Возрождением за силу и чистоту христианской идеи, подчинившей себе мировоззрение, культуру, искусство, быт, не отличались нежностью — религиозное рвение воплощалось в пытках, казнях, кострах, на которых сжигали заподозренных в ереси. Но нигде так ярко не пылало «очистительное» пламя, нигде так естественно не вписывалась виселица в пейзаж, как в Испании, нигде так не изощрялись пыточных дел мастера — дробящий кости ног железный сапог недаром получил название «испанского». Костры, виселицы и застенки усилиями святой инквизиции перенесли в другую эпоху, в век Мурильо и Веласкеса. При такой закалке трудно было пронять испанца буколическими развлечениями. Он хотел страсти, огня, крови, игры со смертью. Он получил фламенко и хоту, петушьи бои и деревенские схватки на ножах, когда зрители делают ставки, он получил корриду. Смерть дружественна душевной жизни испанца. Его любовь — это песни и кровь. Серенада под балконом красавицы, стук мечей, распростертое тело в бледном свете равнодушной луны. «Много крови, много песней для прелестных льется дам...» Кровь не отпугивала, а притягивала. И уж если где-то должна была возникнуть коррида, то, конечно, в Испании.

Меняются времена, но не меняются нравы. И в монархической, и в республиканской, и в автократической, и во вновь монархической Испании бесчисленные толпы с неиссякаемым энтузиазмом устремляются на корриду. И хотя мне показалось, что пыл вроде бы пригас, не чувствовалось того накала страстей в мадридском цирке, который обещают Мериме, Ибаньес и Хемингуэй, не стоит доверять этому впечатлению. Ничего не изменилось и никогда не изменится. Дело просто в том, что сейчас на арене нет великих героев, старые сошли, а новые еще не нарастили мускулов. Смена поколений, как в спорте. Есть одаренные и умелые мастера, есть обещающая молодежь, есть любимцы, но нет кумиров, таких, как Домингин или Ордоньес, не говоря уже о Манолете. Да и коррида, на которую я попал, была вроде оперы с третьим составом.

В своей обычной хладнокровной манере Мериме восхищался корридой, признавая и оправдывая ее жестокость. «Ни одна трагедия на свете не захватывала меня в такой степени. За время моего

пробытия в Испании я не пропустил ни одного боя и со стыдом признаюсь, что бои со смертельным исходом я предпочитал тем, где только дразнят быков». Бласко Ибаньес основательно живописал жестокость зрелища в чуть устаревшем и все-таки очень хорошем, честном романе «Кровь и песок». Хемингуэй, очарованный эстетикой корриды, не скрывал грубую и тягостную физиологичность творящегося на арене. Но сейчас на Западе о корриде принято писать с какой-то противной усмешечкой, подчеркивающей несерьезность зрелища и незатронутость автора.

Откуда это идет? После Хемингуэя писать о бое быков всерьез не оригинально. Куда удобнее поза этакой усмешливой снисходительности: мол, на такие «ужасы» нас не возьмешь. Конечно, после второй мировой войны, Освенцимов, Майданеков, после двух атомных бомб, разорвавшихся над Хиросимой и Нагасаки, после Вьетнама, после тех чудовищных содроганий, которыми природа напомнила о себе распоясавшемуся человеку, не говоря уже о всех прочих менее масштабных зверствах людей и стихий, наверное, как-то неловко ужасаться тем, что убивают на арене быка, которого иначе забили бы на бойне. Но вот какое дело: смерть никчемного Ивана Ильича потрясает больше, чем газетное сообщение о массовом уничтожении. Тут нет ничего удивительного и ничего позорного для человека. Ивана Ильича мы знаем, о жертвах же массового уничтожения нам известно только число. Мы не видели их лиц, их глаз, их мук, как видели лицо, глаза и мучу Ивана Ильича, в нас потрясено и возмущено гражданское чувство, но оно далеко от слезного мешка. Есть и более убедительный пример. Мы не знаем тех миллионов быков, которых ежедневно забивают на всех бойнях мира, и тех милых телят с девичьими глазами, и тех ягнят и поросят, и нам нет до них дела. (Не всем, правда, — Толстому было дело, вегетарианцам есть дело.) Да ведь подавляющее большинство человечества принадлежит не к травоядным. Но быка, которого выгоняют на арену, мы знаем, он мгновенно выделяется для нас из мирового бычьего стада и обретает индивидуальные черты. Вот он стоит перед нами, ошеломленный громадной чашей цирка, многолюдством и шумом, не бык вообщее, а отдельная живая особь, со своей, только ему принадлежащей статью и окраской, со своими рогами, копытами, хвостом и кистью, своим взглядом и выражением, своим характером, повадками, единственный на свете, копий не существует. Уже в первые секунды становится ясно: этот — литой, как из одного куска сложенный, смельчак, а этот — робковатый увалень. Один ошарашен, другой гневно удивлен, третий взбешен, четвертому кажется, что он не туда попал, лучше вернуться в темный, тесный закут. А потом эти быки начинают жить перед нами, жить совсем коротенькой, но много вмещающей в себя жизнью, бороться, нападать, отступать, выжидать, кидаться, являть героизм, робость, смятение, испытывать жгучую боль, возмущение, ненависть,

усталость, смирение, последний гнев, смертную оторопь. Иной бык дерется до последнего, весь скользкий от крови, утканный бандерильями, исколотый пикой, измученный мулетой, он гибнет, но не сдается. А иной, горячий поначалу, вдруг поникает, словно угадав свою обреченность и позорные правила игры без выигрыша, в которую его заставили играть.

Все так, но чувствительный этот лепет не имеет никакого отношения к сидящим на каменных ступенях цирка. Ни малейшего сочувствия к животному тут нет. Хорошему быку от души желают эффектной кончины, быка, не склонного подыгрывать своему убийце, презирают и ненавидят. Хемингуэй совпадал во мнении с цирковой толпой: хороший матадор показывает быку, чего тот стоит. Когда же быка приканчивают по высшему классу — красиво, чисто, с одного удара, — он разделяет славу матадора и, полный благодарности, отправляется в Элизиум зверей. При этом для Хемингуэя каждый бой был душевным событием. А нынешние западные писатели посмеиваются: любопытно, занятно, ну, какая там жестокость — чепуха! От корриды мысль невольно обращается к охоте. Страстная и добычливая охота (тогда еще была дичь) окрасила целый период моей жизни и литературной работы. Я считал: раз есть дичь, должен быть и охотник. Любя природу и все населяющее ее, я спокойно укладывал из своего великолепного «Зауэра» изготовившихся к любви селезней, томительно хоркающих вальдшнепов в смеркающей просеке, токующих на рассвете тетеревов и прочую лесную, озерную и болотную дичь, не испытывая угрызений совести и даже мимолетного сожаления.

Все же охотника из меня не вышло. Я так и не смог выстрелить по зверю, давал уйти взятому на цель зайцу, упустил — сознательно, — к великой ярости друзей-охотников, вышедшего прямо на мой номер лося, столь же бесславно охотился на лисиц. Конечно, это едино, что убить глухаря, тетерева, крякву или лося, лисицу, зайца, но, видать, в четвероногих я сильнее ощущал родную кровь и не мог переступить какой-то внутренней запрет. А потом я вовсе прекратил охоту, раз и навсегда поняв, что это атавистическое занятие вредно для души. К тому же при нынешнем оскудении природы человек должен быть сориентирован в сторону прямо противоположную истреблению, конечно. Возможны и такие возражения: нельзя огулом защищать всех животных, есть вредители полей и садов, хищные волки и ядовитые змеи, таежный гнус, комары, паразиты. Но коль священна всякая жизнь, то и эти жизни священны? Оставим в стороне соображение о том, что понятие вредности той или иной особи относительно и динамично. Вредное сегодня может оказаться полезным завтра. Останемся в державе нравственности, на заданный вопрос ответим твердо: да! Значит, нельзя убить комара, клопа, муху?.. Можно. В доказательство приведу пример из жизни Льва Ни-

колаевича Толстого, которого никак не обвинишь в легкомысленном отношении к символу его веры: не убий.

Однажды за вечерним чаем в Ясной Поляне Толстой прихлопнул комара на лбу своего гостя, друга и последователя, знаменитого Черткова. Несвойственный воспитанному и сдержанному хозяину жест разозлил самолюбивого Черткова и крепко озадачил. Он решил проучить графа. «Боже мой, что вы наделали! Что вы наделали, Лев Николаевич! — произнес он с таким страдальческим выражением, что Толстой не на шутку смутился. — Вы пролили кровь, отняли жизнь у божьей твари! Разве дано нам право распоряжаться чужим существованием, как бы мало и незначительно оно ни было?» Очень ловко, убедительно и безжалостно Чертков обратил против Льва Николаевича его же собственное учение. Толстой зажалел погубленного комара и тяжело омрачился. Чертков почувствовал себя отомщенным. Каково же было его разочарование, когда неотходчивый Толстой на удивление быстро повеселел. Поймав его недоуменный взгляд, Толстой с лукавой улыбкой пояснил: «Все, что вы говорили, святая правда. Но нельзя так подробно жить».

То-то и оно: нельзя так «подробно жить» и так педантично, крохотворно мыслить. Надо доверяться доброму, живому, широкому чувству.

Бой быков еще безнравственной охоты. Дичь имеет шанс спастись, у быка такого шанса нет. Он не может выиграть ни жизни, ни даже отсрочки. Как бы ни был он могуч, отважен, удачлив, он обречен. Он может победить матадора, пронзить насквозь рогами, даже прикончить, все равно с арены он живым не уйдет, его уволочут крючьями.

В той единственной корриде, на которой я побывал, произошел случай, когда по всем законам божеским и человеческим быка следовало отпустить в жизнь. То был четвертый бой программы и второй бой Рамона, лучшего из молодых матадоров, работавших в этот день на арене. Юноши только начинали свой путь — невысокие, стройные, с медальными оливковыми лицами, черными как смоль волосами, они казались издали на одно лицо. Но Рамон был восходящей звездой корриды, а его товарищи ничем не блистали. Бесталанность сводила на нет их отвагу. Они пытались работать близко к быку — в духе Ордоньеса, но бык обращал их в бегство. И убить с одного удара, как это сделал в первом своем бою Рамон, они не умели. Три шага понадобились Пепе, чтобы бык наконец рухнул. У быка Лопеса кровь пошла горлом, что означает неверный удар — грубейшая ошибка матадора, которую не прощают зрители. Но расскажем все по порядку.

Итак, корриду открыл Рамон с хорошим, не слишком крупным, но воинственным и резвым быком, которого не приходилось раззуживать.

вать на поединок. Бык сразу пошел в атаку, едва мулета затрепыхалась перед его глазами, и дал возможность гибкому и смелому матадору исполнить все положенные пассы. Смысл всего, что продельвается на арене: предельно утомить быка, «подготовить» к последнему, завершающему удару шпагой. Этой реальной задаче подчинена вся эстетика зрелища. Быка «доводят» прежде всего мулетой, чье назойливое мелькание перед глазами заставляет разъярившееся животное кидаться очерта голову на верткого человека, делающего из него дурака. Рамон не боялся в какие-то моменты поворачиваться к быку спиной и делать несколько шагов в верхке от острых рогов. За мулетой следуют бандерильи — палки с шипами, которые матадор с разной степенью ловкости втыкает в загривок быка, потом появляется пикадор верхом на тощей кляче. Он вонзает пику в спину быка и, навалившись на древко всей тяжестью, удерживает быка на расстоянии, не давая кинуться. Обычно бык все же преодолевает упор, достигает всадника и бьет рогами в толстый кожаный фартук, защищающий лошадь, и в железные сапоги пикадора. Сплошь да рядом и лошадь и всадник оказываются на земле. Раньше лошадь не была прикрыта, и бык вспарывал ей живот, кишки вываливались наружу. Вся тройка матадоров спешит на помощь поверженному и, размахивая плащами, уводит быка. Обычно тут ярость быка достигает высшего накала. И Пепе и Лопес, спасаясь от рогов, переваливались через невысокую ограду арены под улюлюканье зрителей. Пикадора поднимают вместе с лошадью, и он опять принимается за свое. Скользкого от крови, истыканного бандерильями, измученного быка снова дразнит матадор, вонец раздвигая душу зверя, после чего закалывает. Есть только одна точка на загривке быка, куда должна войти шпага, чтобы пронизав твердые мышцы, достигнуть тяжело стучащего бычьего сердца. Хорошие матадоры чаще всего попадают в эту точку. Попал и юный Рамон. Бык глянул удивленно, встряхнул головой и вдруг замер, прислушиваясь к чему-то свершающемуся внутри него со странным, будто сторонним и наивным выражением, — а внутри его свершалась смерть, которой требовалось время, чтобы прекратить все жизненные процессы в такой огромной массе, — вдруг колени его подломнились, и он медленно, как в рапидной съемке, повалился через голову и откинул ноги. И в то же мгновение сидевшая рядом со мной женщина, средних лет туристка, увешанная фото- и киноаппаратами, вскрикнула и потеряла сознание. Сразу подскочили служители и унесли ее. С той же натренированной быстротой другие служители уволокли крючьями и мертвого быка, его темное тело прочертило широкий след на песке.

Счастливым, улыбающийся Рамон вышел раскланиваться. Трибуны неистовствовали. Я тоже изо всех сил хлопал в ладоши, не потому что зрелище мне понравилось, но я был благодарен матадору, что он

избавил быка и меня от лишних мук. Один мастерский удар, и дело сделано. Бык вроде не очень мучился, я ожидал неизмеримо худшего. И сейчас вместе со всеми громко возмущался скаредностью президента корриды, отказавшего Рамону вопреки нашим требованиям в ухе убитого быка. Иные знатоки утверждали, что юный матадор заслужил оба уха, но президент разрешил лишь триумф. Рамон обошел трибуны, потрясая в воздухе рукой и ловя летевшие к нему шляпы. Зря пожадничал президент, больше поводов для награждения не было. И, усугубляемая бездарностью исполнителей, жестокость зрелища стала невыносимой.

Утром, уже с билетом на корриду в кармане, я по туристской ненасытности заскочил в кино. После обычных реклам и киножурнала на экране появился очаровательный молочный теленок и засакал по заросшему травами и цветами весеннему лугу. Палевая шелковая шкурка золотилась под солнцем. Его позвала мать, белая и прекрасная, как обращенная в корову Ио, возлюбленная Юпитера. Подскакивая сразу всеми четырьмя ножками, он помчался на зов. Повернув голову, корова принялась облизывать сына огромным шершавым языком. Весь влажный от ласки, он сунулся ей под брюхо и, чавкая, сопя, стал пить молоко из тяжелых сосцов. А счастливая мать прикрыла глаза белыми жесткими ресницами.

Я сразу почувал недоброе и не ошибся. Это был трехчастный документальный фильм о ферме, где выращивают боевых быков. Оказывается, это целая наука — выводить, выкормить и воспитать быка для нескольких минут на цирковой арене. Золотистый теленок становится бычком, шкура его темнеет, крошечные вздутия над плоским лбом превращаются в острые, как ножи, рога, накапливается мускулатура, крепнут кости, и вот уже матадор-тренер хлопает перед его носом мулетой, пробуждая первую злость. А затем — кульминация и одновременно финал короткой жизни: огромный, мощный, литой бык выбегает на арену навстречу стройному, худому человеку с печальным смуглым лицом, которого Пикассо умел изображать одним росчерком карандаша. И все — залитый кровью, он падает на песок, сраженный твердой рукой Домингина, и перед его заволакивающимся взором возникает солнечная лужайка, высокая трава, цветы и нежный язык матери, вылизывающей ему нос, темя, глаза...

Волнение, испытанное во время первого боя, помешало мне вспомнить о фильме, но когда появился бык Пепе, я сразу представил себе его палевым теленочком. Я уже говорил о том, как плохо работал Пепе. Трижды наносил он удар, шпага проникала глубоко в плоть животного, но острие не находило сердца. И на это горестное зрелище, где бездарность оборачивалась ненужной жестокостью, в моем мозгу наплыла лужайка в цветах и безмятежная радость малютки бычка.

Две шпаги остались в теле быка, как бандерильи, а неумело всажженные бандерильи он брезгливо стряхнул прочь. Я ждал, что

публика освищет безрукого убийцу, прогонит с арены и другой матадор прекратит мучения животного, но коррида, хоть и охала обвално при очередном промахе, почему-то щадила неудачника. Плоские вонючие кожаные подушки, защищающие зад от стылости каменных сидений, не летели на арену. А Пепе все шел и шел на быка с нарочитой бодростью, но не было в нем ни бодрости, ни уверенности, как не было стыда и отчаяния, овладевавших матадорами Хемингуэя, когда они не могли поразить быка. Я сидел довольно близко к арене и хорошо все видел: на смуглом, залитом потом лице была лишь тупая непреклонность человека, который обязан довести дело до конца. Это его профессия, другой нет и не будет, и он не может отступить. Лоск матадора сползал с Пепе с каждой новой неудачей, он все более становился похожим на крестьянина, у которого крепко не заладилось какое-то хозяйственное дело. Быка-то он добил кинжалом.

Лопесу достался самый большой и безрассудно смелый бык странной свинцовой масти. Эта зловещая масть и чудовищные рога радостно возбуждали трибуны. Но я-то видел его палевым теленочком, влажным от материнской ласки. Этот бык поистине показал матадору, чего тот стоит, — три копейки в базарный день. Он вырвал рогом мулету из рук Лопеса и прогнал его с арены. Он не дал воткнуть ни одной бандериллы и в довершение всего дважды опрокинул пикадора вместе с лошадью. Но все его подвиги были тщетны. Лопес проколол ему легкое, и он долго, изнемогая, захлебывался кровью, прежде чем рухнул.

Но самое безотрадное произошло с четвертым быком, когда снова вышел на арену любимец публики Рамон. Его бык был не так громаден и тяжел, как бык Лопеса, но по бойцовым качествам еще выше. Тот не управлял своей яростью, а этот вышел драться и победить. Ему невдомек было, что и победителя все равно венчает смерть.

Бык Рамона не тратил себя даром, он выжидал, приглядывался и вдруг кидался вперед, заставая матадора врасплох. Рамон был юноша гордый и уже избалованный успехом, он не хотел ни отступать, ни уступать быку. Острый рог порвал ему куртку, распорол рукав, задев и окровавив предплечье. Раз он споткнулся, упал, но, оттолкнувшись ногами от бычьей морды, сумел избежать удара и вскочить на ноги. Толпе все это нравилось. Но что-то утратилось в действиях Рамона — легкость, очарование. Бык измотал его. Рамон был талантливый матадор, но бык оказался талантливей. И хотя в отличие от Рамона он дрался впервые, казалось, что у него больше опыта, расчета и целенаправленной ярости. Я глядел на этого мощного бойца, и образ палевого теленочка не тревожил мне душу.

Бык со странным спокойствием принял бандериллы, он словно не хотел расходовать себя по пустякам, а пикадора опрокинул раньше, чем тот вонзил в него пику. Пикадор, видимо, расшибся. Он лежал раскорячившись, как краб, в коже и железе, и над ним хлопотали

служители. Неуклюжая возня кончилась тем, что пикадора унесли на руках, а лошадь увели. За быка взялся другой пикадор, но то ли он трусил, то ли был неопытен в своем деле. Ему не удалось подготовить быка для Рамона, который совсем выдохся.

По-моему, все сидящие на трибунах знали, что удар у Рамона не получится. Так и было, шпага встретила кость лопатки и сломалась. Рамону подали другую шпагу. Бык ждал его, понурился лобастую голову. Но когда Рамон ударил, бык косо понулся плечом и выбил оружие из руки матадора. Шпага отлетела метров на десять. Нет ничего унижительнее для тореро, когда шпага валяется на песке. Но Рамону пришлось испытать это унижение еще дважды. На трибунах послышался смех, грозный смех презрения.

Рамон медленно приближался к быку. Пот заливал его смуглое лицо, стекал на глаза, он резко смаргивал капли. Полуослепленный, с ушами, залепленными, как грязью, насмешливым гулом толпы, он нанес удар, и шпага вошла чуть не по рукоятку. Бык постоял и медленно, спокойно пошел прочь с торчащей из тела шпагой, охлестывая бока тугим хвостом. И тут Рамон заплакал. Он плакал на глазах огромной, разозленной, мстительной толпы и по-деревенски утирался рваным рукавом.

Мне вдруг показалось, что столь полный и очевидный провал человека обернется спасением для быка. Ведь бык победил по всем статьям. Израненный, окровавленный, со сталью в теле, он выстоял, явив поразительную силу жизни. Пусть он уйдет в те же ворота, из которых выбежал на арену. Пусть залечит раны, придет на пастбище, вспомнит вкус свежей, сладкой травы, покроет корову, пусть в темной для нас душе своей испытает уважение к человеческой справедливости. Давайте считать, что он может это испытать, ведь мы ничего не знаем всерьез не только о тех жизнях, которые нас окружают, но даже о себе самих. Одно мы все же знаем, что и мудрейшие научные теории объясняют ничтожно мало в той великой тайне, которую являет собой носитель жизни. Может быть, справедливость, явленная быку, всего нужнее нам самим.

Какой там!.. Уже получив смертельный удар, шатнувшись и валко переступив ногами, бык остался стоять, обводя глазами цирк, словно хотел запомнить каждого и покарать непощением. Он был мертв, но отказывался упасть на колени перед теми, кого презирал всем своим огромным мужественным сердцем...

Вечером я видел Рамона, Пепе и Лопеса в нашем отеле, где каждый из них занимал по крошечному номеру на последнем этаже. Такие номера сдаются обычно на ночь или на несколько часов. Бедные мальчишки! Без своих расшитых курток и поясов — просто уличные продавцы газет...

ПУСТЫЕ БУТЫЛКИ

С утра опять бились с вакуумом. Была какая-то неисправность в насосе, откачивающем воздух. Недавно взятый в лабораторию молодой инженер Витя Замошкин суетился бестолково.

Марк Иванович, стараясь скрыть свое раздражение, погнал Витю в производственно-технический отдел и сам взялся за насос. Человек высокой технической одаренности, он в таких случаях сам называл себя слоном, вынужденным перетаскивать спички.

— Нет, Колю он нам не заменит, — сказала Марина и, движимая чувством долга, встала рядом с Марком Ивановичем у насоса.

— Коля ваш был хороший лодырь, — сердито отозвался Марк Иванович.

— Но руки у него золотые.

Марина славилась объективностью и справедливостью.

— Руки у него золотые и природное инженерное чутье, — добавила она.

Радиотехник Сева вдруг громко захохотал. Марк Иванович взглянул на него поверх очков, которые надевал, только занимаясь тонкой работой. Он был ненамного старше остальных — тридцатидвухлетний кандидат наук Анютин. Марина числилась младшим научным сотрудником. Еще радиотехник и инженер — это был весь штат лаборатории, которой руководил Анютин.

Об их работе не рекомендовалось громко разговаривать в общественных местах. Хотя один раз их показывали по телевизору, туманно и непонятно поясняя непосвященным возможности разделения изотопов посредством лазерного луча.

Передача состоялась не так давно, и на экране еще действовал Коля. Повинуясь мановению руки Марка Ивановича, он делал вид, что включает и выключает установку, хотя все это была чистая липа. Марину показывали крупным планом — за красоту. И после передачи телестудия переслала ей семь писем с предложением руки и сердца. Муж Марины — самбист, поэт и рыцарь — обклеил этими письмами туалет.

А Коля передачи так и не видел. Она шла по какой-то новой рубрике, Коля что-то перепутал и опоздал к телевизору. Потом он

послал два письма якобы от имени зрителей с просьбой повторить интересную программу, но со зрителями не посчитались.

Радиотехник Сева очень похоже изображал, как Николай в белом халате мелькает на экране, осуществляя решающий миг эксперимента. Когда он увидел, что Коля всерьез огорчается, то стал заводить его еще больше, пока не прикрикнул Марк Иванович. А вскоре Коля ушел из лаборатории согласно поданному заранее заявлению. Он проработал здесь шесть лет — со дня окончания института, — и хотя не отличался ни усердием, ни дисциплиной, знал всех мастеров в техническом отделе, умел ладить с людьми, и инженерная мысль у него действительно работала.

Марк Иванович счел нужным поговорить с Колей перед его уходом.

— Хорошо ли вы продумали свое решение?

— Я продумал, — твердо ответил Коля.

Он не сказал, куда переходит, но намекнул на высокий заработок и свободу во времени.

— А в смысле перспективы новая работа вас устраивает?

— Она меня устраивает во всех отношениях.

— Ну что ж, Коля, мы все желаем вам хорошего и не будем мешать вашему росту...

Вместо Коли в лаборатории появился Витя Замошкин, очень усердный и пока очень бестолковый. Вот и сейчас он бесцельно торчит в техническом отделе, и мастера гоняют его один к другому.

Марк Иванович наладил работу насоса, и настроение у него улучшилось.

— Что ты ржешь, мой конь ретивый? — спросил он Севу. Тотчас добавил, испугавшись, что обидел: — Учтите, это стихи.

— Да что там, Марк Иванович! — сказал Сева. — У меня тоже, литературно выражаясь, смех сквозь слезу. Я ведь знаю теперь, где Колька работает...

Сказано было таким тоном, что все молча ждали продолжения. Но Сева ничего не прояснил.

— Это увидеть надо.

— Как увидеть?

— Марк Иванович, поедem в обед, я покажу. Нужно, чтоб вы сами посмотрели. И Марина тоже. Я-то случайно налетел.

Сева говорил очень серьезно. Они поехали.

Старая московская улица, которой еще не коснулась реконструкция, выходила к одному из вокзалов, и потому движение на ней было оживленное, а киоски и маленькие магазины облепили ее до самой вокзальной площади.

Сева привел Марка Ивановича и Марину к небольшому деревянному сараю, возле которого сгрудились люди, навьюченные мешками, авоськами и корзинами.

— Встанем в сторонке, — распорядился Сева.

Они примостились в конце загибающегося крючка этой бестолковой очереди. Люди, образующие ее, были беспокойны и суетливы. То и дело тянулись вперед, стараясь перетащить свой груз хоть на несколько сантиметров ближе к сараю-киоску.

— Чего он сказал? Чего сказал? — спрашивала пожилая женщина у своего соседа.

— Чего, чего... Не будет больше принимать... Тары, видишь, нету...

— Неужели обратно тащить... Да попросите вы его...

— Его попросишь! — сказал мужчина. — Хозяин — барин.

— Слушай! — кричали из очереди. — Ты давай прими хоть у первого пятка!

— Что я, на голову себе буду принимать? — отвечал голос из сарая. — Сказано: тары нет.

Марк Иванович встревоженно оглянулся на своих спутников. Сева безмолвно сделал плавный жест рукой — как конферансье, представляющий публике артиста.

В окошечке приемного пункта стеклянной тары, как на маленькой сцене, уверенно действовал бывший сотрудник лаборатории инженер Глазунов.

— Закрывается, граждане! До трех часов, если тару к тому времени подвезут. Куда ты мне свою посуду тычешь? А ну, убери! Эй ты, пропусти бабуся... Старого человека затолкали! Давай свою посуду, бабуля.

— Спасибо тебе, сынок, спасибо...

— Старость уважать надо. Четыре поллитровки, четыре портвейна. Богато живешь, бабуся.

— Зять, прохиндей, пьет...

— Не критикуй, бабуля! Рабочему человеку выпить всегда можно. Получи один рубль тридцать две копейки. А не пил бы зять, где бы ты этот рублик взяла? Закрыто, товарищи-граждане, закрыто!

— По какому праву закрываете? — шумно запротестовала молодая женщина. — Перерыв с двух до трех, а сейчас и часу нету. Я за три квартала с посудой тащилась. Что же вы все молчите? Жалобную книгу требовать надо!

Очередь никак не отозвалась.

— Кто над вами главный? — не унималась женщина. — Вот сейчас мы подписи соберем...

— Раскричалась, — неодобрительно сказал гражданин с мешком, доверху набитым бутылками, — а он потом и вовсе не откроет. Тогда аж на Басманную переть...

— Произвол какой-то! Я из принципа этого дела не оставлю!

— Гражданочка, гражданочка, принципы на пустые бутылки не распространяются. И учтите, от крика образуются морщины. Сколько там у вас посуды? Стоит ли из-за пятнадцати бутылок расстраивать-

ся? Тем более импортные из-под рислинга не принимаем. И ликерные — тоже. Пожалуйста, можете их здесь оставить, это ваше дело.

— А в «Вечерней Москве» отвечали на вопрос читателей, что импортные принимаются! — не унималась женщина.

— Мало ли что пишут в «Вечерке», они вон на сегодня дождь объявили. А где он, дождь?

В очереди угодливо захихикали.

— Итого шесть поллитровок. Получите семьдесят две копейки. Стоило волноваться?

Деревянная створка захлопнулась.

Несколько человек, обремененных бутылками, побрели кто куда, но основной костяк очереди остался незбылемым. Каждый вроде бы стремился переждать другого. Гражданин с большим мешком первый нарушил это оцепенение. Привычно быстро он подобрал оставленные у стенки бутылки из-под рислинга, взвалил на плечо свой мешок и легкой трусцой забежал за угол киоска, а за ним в молчаливой спешке поволокли свою кладь остальные.

— Не хочу я этой встречи, — брезгливо поморщился Марк Иванович. — Страшный сон! Что его сюда потянуло? Какой здесь может быть оклад?

— Оклад — чепуха, — сказал Сева, — тут другие доходы.

— Что за доходы на копеечных бутылках?

Они подошли к задней стене киоска, к его черному ходу, заставленному потемневшими, разбитыми ящиками. Очередь расположилась у стены и застыла, являя собой воплощенное терпение. Гражданин с мешком покуривал, выстроив в ряд забракованную импортную посуду.

— Да постучите вы ему! — взмолился женский голос.

— Чего зря стучать. Он сам знает.

Широкая дверь растворилась. Коля стоял в проеме, держа в руках маленький черный ящичек с педальками, по форме напоминающий школьный пенал.

— Японский счетчик, — почтительно отметил Сева, — производит все действия на любые числа. Полтора ста в комиссионке, да и то не достанешь. Шикарная вещь!

Они стояли в конце очереди, стараясь не попадать в поле зрения хозяина ларька.

— Вот народ! — осуждающе сказал Коля. — Ну что я сделаю, если тары нет?

Очередь заголосила:

— Прими по десять, мы согласные.

— Прими, Коля...

— По десять рассчитай...

Коля покрутил головой.

— Еще ломается, сукин сын! — крикнул кто-то из очереди.

Коля сощурил глаза, сплюнул и, повернувшись спиной, захлопнул воротца.

Гражданин с мешком яростно набросился на молодого губастого парня. В праведном гневе он через каждые два слова изрыгал матерную брань.

— Чего разорался... Больше всех тебе надо... А ну, мотай отсюда!

Очередь его горячо поддержала:

— Нашелся умней всех!

— Оскорблять всякий может. Ты встань на его место, поработай тут!

— Вот и жди теперь через таких дураков...

Кто-то жалобно просил:

— Да постучите вы ему, может, откроет?

Стоящий впереди тихонько надавил на доску и забубнил в образовавшуюся щелочку:

— Коль, а Коль, прими, как отца просим...

Дверь распахнулась. Хозяин стоял нахмуренный. Не глядя ни на кого, бросил:

— По восемь...

На секунду люди ошалело замерли. Коля шелкнул клавишами счетного аппарата, и этот звук побудил людей к действию. Из мешков повыскакивали на свет бутылки и расположились у Колиных ног. Он пощелкивал японским счетчиком, лениво называл цифру и приказывал:

— В тот угол складывай.

Или определял:

— Импортные по пять.

Или распоряжался:

— Мальчик, иди сюда. Что там у тебя? Четыре? — Счетчик послушно шелкнул. — Получай сорок копеек. Да, ему по десять! И не спорьте! Почему, почему... Это же ребенок! Ему, может быть, на тетрадки надо или на мороженое. Дети — это наше светлое будущее.

Когда дело дошло до губастого парня, Коля отвернулся:

— Не приму.

— На каком основании? Не допущу... Не позволю... — бушевал губастый.

— Иди жалуйся куда хочешь. Глазунов моя фамилия. Жалуйся!

К воротам подъехал разболтанный грузовик, из которого проворно соскочили двое мужчин. Отвалив заднюю стенку кузова, они с разработанной быстротой повыхватывали из машины водочные и винные бутылки и установили их на земле рядками — по десять штук.

Гражданин с опустевшим мешком, перекинутым через плечо, и мятыми рублевками в руке благодушно спросил:

— С парка?

— Твое какое дело? — огрызнулся приезжий.

— Чего там... Сам вижу откуда. По восьми Колька дает сегодня.

— Ну вот, — сказал Сева, — тут вам и арифметика и кибернетика. Будем встречаться?

Марина махнула рукой и выразила желание уйти. Но Марк Иванович, которым, несомненно, двигала страсть подлинного ученого — все познать, чтобы все понять, — пересиливая себя, сделал два шага вперед и попал в поле зрения Коли, который в этот миг поднял глаза от своего аппарата.

— Ну, чего остолбенел? — засмеялся Сева.

Надо было прервать Колину затравленность, с которой тот никак не мог справиться.

— Ты десятилитровые баллоны принимаешь? А то у нас в кладовой полный завал.

— Марк Иванович... Марина... — придушено сказал Коля. — Как это вы здесь появились?..

— Да вот... — Марку Ивановичу очень хотелось сказать, что встреча произошла случайно, но, воспитывая себя в правилах безукоризненной честности в науке, он, помимо воли, перенес эту правдивость в повседневную жизнь. — Да вот пришли посмотреть поприще вашей новой работы...

— А говорил, перспективная! — вставил Сева.

Мужчины, перетаскавшие бутылки, стояли поодаль, понимая, что присутствуют при каких-то чрезвычайных обстоятельствах. Не уясняя себе степени значения этой встречи, они на всякий случай намеренно громко восхваляли Колины качества:

— Он сейчас разочтет. Это мигом.

— Не ошибется. У него всегда точка в точку, и пересчитывать не надо...

— Человек подкованный, чего там говорить...

Очнувшись, Коля быстро вытащил желтый кожаный бумажник, отсчитал рубли, мелочь и сделал резкий жест, словно отринул всех от своего ларька.

Он старался вернуть себе шутивно-нагловатый тон, который не раз выручал его при лабораторных неурядицах: «Мы люди маленькие, мы на вершины науки не стремимся».

Теперь это помочь не могло.

— Ребята, — повторял он растерянно, — ребята...

Откуда-то выскочил парень с авоськой, набитой пустыми бутылками.

— Коль, друг! — радостно завопил он.

— Иди ты!.. — с внезапной злобой выругался Коля.

Марк Иванович решительно повернулся и зашагал было прочь, но ушел недалеко, потому что Марина не тронулась с места, а с нею оставался и Сева.

— Я вижу, ты здорово наострился,— сказала Марина.

— Мариночка, лапочка, я извиняюсь! Марк Иванович, умоляю, не уходите! Ну, сорвалось по привычке. Я же теперь рабочий человек. Марк Иванович, это отметить надо, встречу нашу... Я прошу...

Не обращая внимания на тех, кто еще теснился возле ларька, он быстро запер свое заведение на большой замок, опустил ключ в карман новой замшевой куртки и кинулся к Марку Ивановичу, скрипя на ходу черными кожаными ботинками.

— Вы знаете, Коля, я подобных выражений не терплю. Особенно при женщинах.

— Ну сорвалось, Марк Иванович, сорвалось! Такая работа, без этого здесь нельзя. Вот рядом шашлычная. Посидим тихо, культурно. Коньячку выпьем.

Марк Иванович слабо сопротивлялся, но Марине и Севе явно хотелось посидеть в шашлычной и выпить коньячку.

— Обедать все равно надо,— уговаривал Коля.— В столовой рубленый бифштекс с макаронами ковырять, а здесь я вас таким шашлычком угощу! По особому заказу...

— Люблю шашлык,— мечтательно сказала Марина.

Марк Иванович попытался поддержать честь своей ведомственной столовой, но на его слабый протест: «Столовая у нас вполне, вполне» — уже никто не реагировал.

Стеклянная коробочка шашлычной приняла четверых посетителей — трех гостей и хозяина.

Коля вошел уверенным шагом, выбрал столик, официанту велел сменить скатерть, негромко отдал еще какие-то указания и добавил:

— Коньяк армянский. Марочный. «Двин» или «Наири».

— Ну, ты даешь! — восхитился Сева.

— Ребята,— проникновенно, со слезой в голосе сказал Коля,— если бы вы знали, как я мечтал об этой минуте! Чтобы посидеть с вами за столом, как бывало. Я предлагаю первую рюмку за нашу лабораторию... За ваши успехи...

Выпили.

— Как уволился, так и пропал,— начал укорять Сева.— Хоть бы по телефону позвонил...

— Сева, друг, знаешь, какие-то предрассудки мешали. Врать не хотел, а что скажешь? Марк Иванович, дайте я вам налью... Работа есть работа. Так ведь? И уж если ты деловой человек, то тебе почет... Вы попробуйте, какой здесь шашлык, лучше, чем в «Арагви»! Верьте слову!

— Ну хорошо, Коля.— Марк Иванович потер щеки. Он пил редко, и хмель красными пятнами загорелся у него на лице.— Вот вы ушли из лаборатории, где каждый по мере сил причастен к некоторым научным процессам. Это, как я считаю, стимулирует, подвигает...

— Вдохновляет,— подсказала Марина.

— Это слово не из моего лексикона, но в данном случае я готов и его принять. Когда вы, Коля, уходили от нас, я так понял, что вам предложено нечто более перспективное и творчески интересное. Но сейчас я ничего не понимаю.

— Марк Иванович, сегодня мы с вами на равных. Вы не начальник, я не подчиненный. Выпьем еще по рюмочке, и я выскажусь. Конечно, вы, возможно, науку двигаете. У вас и звание и степень. А я кто был? Мальчик на побегушках? Фланцы сварить, трубки спаять, производственный отдел поторопить. Сбегай туда, поди сюда. Вот и вся моя работа за сто тридцать рэ. Что меня могло вдохновлять?

— Кто вам мешал вникнуть в основные процессы? Все от вас целиком зависело!

— Нет, простите! Когда я один раз заинтересовался вашими редкоземельными элементами, что вы мне ответили? Я помню!

— И я помню. Я потребовал, чтобы тот участок работы, за который вы отвечаете, был абсолютно обеспечен. После чего ваш интерес мог распространиться на дальнейшее.

— Ну да. Смысл был такой, что всяк сверчок знай свой шесток. Вы боги, а мы инженеры.

— Коля, — сказала Марина примирительно, — мы сюда пришли не счеги сводить. И не было между нами счетов никаких. Мы всегда дружно работали.

— Мариночка, красавица, не сердись — ты подопытный кролик! В том смысле, что тебя натаскивают на диссертацию. Не обижайся, но ты нужна лаборатории для галочки.

Марк Иванович поднялся, но Коля ухватил его за плечи, посадил.

— Марк Иванович, я считаю вас человеком с большой буквы. И я хочу, чтобы вы меня поняли. Раньше я был ноль. Теперь могу сам себя уважать! Вы думаете, как меня сюда принимали? Я должен был диплом предьявить о высшем образовании! Здесь ведь тоже не так просто! Здесь образование ценят!

— А для чего вам здесь инженерные знания?

— Ого как нужны! Я, если хотите, представитель новой формации. Рабочий человек с высшим образованием.

— Какой ты рабочий человек! — загоготал Сева.

— А кто я?

— Обслуживающий персонал, вот ты кто!

— Дурак, я здесь тяжестей за день перетаскаю побольше любого грузчика. Чисто физический труд. Это с одной стороны. А с другой — мозговая деятельность, весь день считай, считай... Марк Иванович, не лезьте за своими деньгами! Все заплачено. Это теперь для меня ничего не составляет...

— И все-таки я чего-то недопонимаю. На чем зиждется ваше благополучие и каково его соотношение с нашим правопорядком?

Учитывая соседей за ближайшими столиками, Марк Иванович старался изъясняться эзоповским языком.

Коля небрежно махнул рукой:

— Не беспокойтесь, Марк Иванович, дело чистое. Никакой обхэээс не придерется. Я население не обижаю. Так, разве только иной раз округлишь сумму, конечно, в свою пользу. Кто эти копейки считает? А главные мои поставщики — мусорщики и алкаши, что по паркам да по стадионам посуду собирают. Им эта бутылка ничего не стоит, а выпить нужно. Они ее по дешевке отдают.

— И складывается? — спросила Марина.

— Будь спокойна! Есть, конечно, и расходы. Шоферам, что тару подвозят, еще кое-кому, без этого нельзя. Но не жалуюсь. Мне в вашем НИИ столько и не снилось. Ну, еще по одной — на прощание! Вот пойдете вы отсюда и будете меня осуждать. А я не жалею. Вы осуждайте, это ваше право, но помните, я доволен! Мне теперь номерок вешать не надо, и отпрашиваться с работы на полчаса не у кого, и копейки на ежедневные расходы считать не приходится. А вашими редкоземельными я не очень-то интересуюсь...

Они поймали такси у самой шашлычной. Коля сел с Мариной и Севой на заднее сиденье, уступив место рядом с водителем Марку Ивановичу. Коля не помешал своему бывшему руководителю заплатить за проезд один рубль восемьдесят копеек — на десять больше положенного, после чего, перегнувшись через переднее кресло, вручил шоферу пять рублей.

— Помни, кого вез! Светило науки профессора Анютина и его учеников. Одного, правда, бывшего, но все равно подающего надежды...

Шофер покосился на Марка Ивановича, но деньги взял.

— Ну, пижон! — сказал Сева вслед уходящему Коле. И тут же извиняюще добавил: — Правда, поддавши он. Трезвый так не сделает.

Новую машину купить не удалось. Директор пищеторга сперва обещал помочь, потом стал тянуть и наконец сказал:

— Машина — это тебе не десять кило воблы устроить...

И Коля понял, что тут ничего не получится.

Он поехал на автомобильный рынок, расположенный на площади у высоченного автоцентра, где в просторном зале на постаменте стояли недоступные новенькие «Жигули» последних выпусков цвета горчицы, цвета рябины и цвета эмалированной голубой кастрюли, с табличкой, обозначающей цену, а на полках были расположены детали к ним — любые, кроме тех, которые в данную минуту были тебе нужны. Но Коля в магазин заскочил только мимоходом. Тут ему делать было нечего. На площади стояли сотни машин, и среди них одна — его будущая собственность. Коля не взял с собой никаких

советчиков. Советчики всегда сбивают с толку. Он отлично знал, что даже новая машина — это лотерея. Никто не может знать, как она себя поведет. А старая, побывавшая в чьем-то владении, — это уже загадка скорее психологическая. Разгадай, почему человек ее продает?

Так он ходил, присматриваясь к разноцветным, как пасхальные яйца, машинам. Одна из них пленила его зеленой свежестью и ухоженностью.

Коля проехал на ней три круга по специальной площадке, и все время ему казалось, что мотор вроде бы постукивает.

— Чего это она у тебя стучит?

— Где стучит? Где стучит? — с такой страстью заорал хозяин, что Коля понял: знает он отлично! Повернулся и ушел молча.

Полдня он провел на этом рынке, пока сторговал светло-серенькую машину выпуска семьдесят третьего года. Машина прошла сорок тысяч, но, видимо, стояла на улице. У нее как следует проржавели крылья и днище.

Продавала машину пожилая женщина. С ней был высокий молчаливый парень.

Женщина оказалась упрямая и подозрительная. Она желала получить за машину пять тысяч, во сколько бы ее ни оценили в «комиссионке». Кроме того, она хотела отдать свою машину в «хорошие руки».

Эти «хорошие руки» вконец озлили Колю.

— Вы что, щенка, что ли, продаете? — рассердился он. — Уж если так жалеете, сами бы за ней лучше смотрели! Вон даже багажник у вас проржавел...

— Потому и продаем, что гаража нет, — сказала женщина.

Молодой человек пихнул ее локтем в бок — предостерегал. А чего там предостерегать, и так видно, что стояла машина и под дождем и под снегом...

— Если не врать, то и запоминать ничего не надо, — назидательно сказал Коля.

Но ржавчина — это дело поправимое. Ошкурить, залить где надо, крылья переменить и покрасить, днище — антикоррозийным покрытием оснастить. Она у него как игрушка будет! Главное — мотор неизношенный.

— А кто комиссионный сбор будет платить? — спросил Коля.

— Я ничего не знаю! Я должна получить на руки пять тысяч, — как заведенная, твердила женщина.

Коля отвел парня, чтобы поговорить как мужчина с мужчиной. Тот развел руками: «Машина не моя, говорите с хозяйкой».

А тут еще напористый кавказец откуда-то взялся. Все время выжидательно терся возле машины и подмигивал владелице. Так что Коля разом решился.

Отвели машину на пятак и томительно долго ждали оценщика — безразлично-деловитого парня с лампочкой на длинном шнуре. Он сверил номера, в минуту определил изношенность — пятнадцать процентов, и опять пришлось сидеть на скамеечке у дверей, откуда выкликали хозяев машины и покупателей для оформления.

Рядом с Колей сидел толстый мужчина в расшитой тюбетейке. В руках у него болтался тугой узелок из ситцевого платка — белого в черную крапинку, каким в деревнях повязывают голову старухи. В платке были деньги на машину. Они даже торчали из одного уголка. Это Колю развеселило. Свои деньги он заранее приготовил в крупных купюрах, чтобы быстрее было считать.

Расставался он с ними легко, не жалея. Женщина-кассир с усталым лицом придвинула к себе пачки и привычно быстрыми пальцами, едва касаясь уголков купюр, перелистала их одну за другой, изредка поднимая на Колю невидящие глаза.

Потом они перешли в отдел окончательного оформления, где Коля передал взволнованной до потрясения женщине пятьсот рублей, недостающие по оценке до требуемых пяти тысяч.

Сто из них она отдала парню, который помогал ей продавать машину. Парень тут же исчез.

На этом завершительном этапе покупателя и продавца попадали во власть трех современных девушек, сидящих за счетными пюпитрами. Две из них вели потаенный разговор с лохматым парнем, который перегнул к ним через барьер, а третья подкрашивала ресницы и, закончив эту ювелирную работу, сообщила, что идет обедать.

Истомленные ожиданием люди толпились у барьера, вытягивая головы, чтобы увидеть свою фамилию на стопках бумаг, лежащих перед девушками. Время от времени, отвлекаясь от разговора и еще не перестав улыбаться чему-то своему, девушки покрикивали:

— Отойдите сейчас же от барьера! Дайте спокойно работать! Когда надо, вас вызовут!

— Это нестерпимо! — громко сказал высокий седой военный. — Какое время обедать? Я второй час здесь околачиваюсь!

Девушка за барьером гордо выпрямилась.

— По-вашему, выходит, я не человек? Мне и поесть не надо?

— Надо, но не в рабочее время.

— А вы мне не указывайте, в какое время мне обедать. Нечего было торговать своей машиной на базаре. Сдали бы в комиссионный — не ждали бы.

— Как вы смеете со мной так разговаривать! — разъярился военный.

Девчонки тут же дружно и возмущенно залопотали: «Мешают работать, мешают работать...»

Коле вся эта ситуация была хорошо знакома. Его напарница неподвижно сидела на скамейке и от духоты раскрывала рот, как засыпающий карп. Никакой надежды, что она сможет подвинуть дело, не было. «Так тут до вечера проторчишь», — подумал Коля. Денег у него почти не осталось. Еще утром он был богачом, а сейчас в кармане телепались две трешки и немного мелочи. Но он спустился на улицу к кондитерскому киоску, взял две плитки шоколада по рублю тридцать каждая и вернулся в зал. Одна красавица неторопливо постукивала по клавишам своего аппарата, другая продолжала болтать с парнем, перебирая не глядя стопку автомобильных документов, оформления которых вожделенно ждали продавцы и новые владельцы.

Коля подошел к барьеру деловым шагом, отеснил лохматого, небрежно бросив: «Извини, друг», — и, вытащив из кармана куртки завернутый в чистую бумагу шоколад, протянул его девушке:

— Это вам просили передать от потомка великого русского композитора Глазунова.

На мелком девичьем лице задрожали интерес и недоверие.

— Какого, какого композитора?

— Глазунова.

— Не было такого композитора...

— Н-ну! — с превосходством сказал Коля. — А балет «Раймонда»?

Девушка захихикала и опустила пакетик в ящик своего стола, а Коля отошел, чтобы не привлекать излишнего внимания людей.

— Глазунов, Надейкина! — вызвали их через три минуты.

Еще через десять минут Коля подошел к своей машине и хлопнул ее по багажнику, как всадник по крупу лошади.

— Жидковато делают. Консервная банка.

Женщина, продавшая машину, заплакала.

— Что это вы так расстраиваетесь? — сказал Коля. — Смотрите, а то обратно отдам. Я слез не люблю, да и примета плохая.

— Что вы, что вы? Владейте на здоровье, — заторопилась женщина. И пошла к остановке троллейбуса, пробираясь между рядами машин. Надо бы ее подбросить хоть до метро, но Коле не терпелось остаться один на один со своей собственной машиной.

Настроение в лаборатории было неважное. Очередной эксперимент не дал желаемого результата.

— Разделяли — веселились, подсчитали — прослезились, — сказал Сева. — Коварная bestия этот лазер.

— Не надо таких заявлений, — сухо оборвал его Марк Иванович. — Я убежден, что не было желаемой чистоты.

Витя насторожился.

— Вакуум был, Марк Иванович! Ручаюсь!

— Не знаю, не знаю. Я сам должен все проверить.

— Завтра начнем все заново,— сказала Марина.

Марину неудачи не обескураживали. Она всегда готова была начать сызнова скучную подготовительную работу по эксперименту, и в этом заключался залог ее будущих научных успехов, как предсказывал Марк Иванович. Марина, конечно, немного играла, безмятежно улыбаясь, когда всем впору было бить посуду.

Рабочий день кончился, а они не расходились, хотя вся лаборатория, и установка для эксперимента, и рабочие столы опостытели всем до крайности. И разбираться в причинах неудачи надо было на свежую голову...

А у ворот института их уже около часа ждал Коля на своей машине. Отмытая, отполированная, она блестела и радовала глаз. На сиденье водителя была накинута баранья шкура, вся в длинных завитках. На остальных сиденьях пестрели чехлы из яркого клетчатого пледа. Перед смотровым стеклом болталась на ниточке заграничная голенья куколка...

Ожидание Колю не тяготило. Он снова и снова представлял себе, как бесшумно подкатит к проходной, как заахает Сева, в восторге поднимет руки Марина, и только реакция Марка Ивановича была еще не ясна. Марк Иванович может и не увидеть все достоинства машины. Ему нужно как-нибудь деликатно на них указать. Тогда и он осознает и оценит.

Ему с тремя ребятами и неработающей женой вряд ли когда-нибудь доведется сесть за руль собственной машины. Если даже и докторскую защитит, он себе такой цели не поставит. У Марины, возможно, машина будет. Ее муж приобретает вес в спорте — съездит раза два за кордон, станет чемпионом. Спортсменам многое доступно. Но ведь когда что будет, а Коля вот сейчас удивит их, бывших сослуживцев, и докажет, что все в жизни зависит от самого человека...

Он подкатил к тротуару, как задумал, плавно и беззвучно. Анютин даже вздрогнул от неожиданности, когда Коля прямо перед ним распахнул дверцу.

— Марк Иванович, прошу!

— Неужели твоя?!— ахнул Сева точь-в-точь, как представлялось.— Ну, старик, ты силен!

Сева обскакал машину кругом и постукал ногой по каждому колесу.

— Поздравляю, поздравляю,— пропела Марина.— И цвет серенький, мой любимый...

— Вот вам и пустые бутылочки!— Сева глядел на машину с восторгом.

— Поздравляю вас, Коля,— как-то отрешенно проговорил Марк Иванович.

— А этот товарищ на моем месте, что ли?

— Это Виктор, наш инженер,— представила Марина.

Витя Замошкин Колю не знал и на машину не реагировал. Он опять завел свое:

— Марк Иванович, я знаю, вы меня вините, но я вам ответственно говорю, что по моей линии был полный порядок.

— Знакомая ситуация! Вакуум — основа эксперимента! Так, что ли? Эх ты, бедолага, иди под мое начало. Через полгода моторную лодочку гарантирую, через два года — колеса!

— Я вас, Витя, ни в чем не обвиняю. Завтра с утра мы во всем разберемся. Думаю, что абсолютно чистый элемент на уровне нашей техники получить пока невозможно.

— А я считаю, дело в установке,— упрямо сказала Марина.

— Марк Иванович, прошу, рядом со мной. Мариночка, Сева, Виктор, располагайтесь поудобнее. Всех развезу.

Машина легко подалась вперед.

— Очень приемистая,— сказал Коля,— послушная, как любящая женщина.

Но настырный Виктор не давал никому слова сказать:

— Я на этот раз до конца выложился. Если хотите знать, я весь ПТО на ноги поставил...

— Вполне допускаю, что ошибка в моих расчетах,— сухо сказал Марк Иванович.

Коля сделал лихой, красивый поворот.

— Все-таки научились мы машины делать! Тормоза чуткие, как живые. И сиденья удобные. На большое расстояние ехать — усталости не почувствуешь. Все продумано!

— Я несправедливости не переносу,— бубнил на заднем сиденье Виктор.— Если нет доверия, я могу уйти. Не потому, что я материалист, а потому, что мне обидно.

— Куда это ты собираешься уходить?— озлясь, спросил Коля.

— Вы же предлагаете к вам перейти...

— Черта с два у нас тебя возьмут!

Колю понесло раздражение против них всех с их установками, изотопами и прочей хореографией.

— На это место просто так не попадешь! Это тебе не вакуум!

— Остановите, пожалуйста, у метро,— сказал обиженно Виктор.— А вам, Марк Иванович, я завтра докажу...

— По-моему, я его ничем не обидел,— стал оправдываться Анютин, как только Виктор вышел из машины.

Коля не трогался с места. Он ждал, чтобы ему сказали хотя бы, кого в первую очередь отвозить, куда ехать. Не так он себе представлял эту встречу. Хорошо хоть Марина наконец догадалась:

— Сперва Марка Иванoviча, это и мне по дороге. Я у троллейбусной остановки сойду...

Как хотят. Пусть едут на метро, на автобусе. Пусть завтра снова начинают возиться со своей установкой, варить фланцы, делить изотопы. Пусть защищают диссертации, получают зарплату и осуществляют связь с производством.

Коле все это до лампочки.

Сева пересел на освободившееся место Марка Ивановича и трещал без умолку:

— Слушай, ты же теперь на одних билетах сколько сэкономишь! Сел и поехал. Хочешь на Юг, хочешь в Прибалтику. Она же почти новая, да? Сорок тысяч для такой машины пустяки. И зажигалка есть? Красота! А сиденья раскладываются? Слушай, а оранжевый цвет не лучше? Говорят, самый безопасный в смысле аварии. Ее можно в оранжевый цвет выкрасить. А, старик? Вот здорово будет!

Коля остановил машину у метро.

— Слезай.

— Сам же обещал до дома,— обиделся Сева.

— На метро доедешь. За пять копеек.

— Псих,— сказал Сева.— Я, что ли, виноват, что ты из лаборатории ушел...

— Дурак!— крикнул ему вслед Коля.

Но когда легкая фигурка Севы влилась в круговорот людей у метро, Коле показалось, что он упускает самое основное, самое значительное в своей жизни.

Его охватила неожиданная тоска. Он бросил свою машину на месте, где ей вовсе не положено было стоять, и кинулся за Севой, будто именно от того, догонит он его или нет, зависела вся Колина дальнейшая судьба.

А схватив его за локоть у самой лестницы, не мог ничего придумать и злился на самого себя за то, что голос у него стал просительным и жалким:

— Сев, а Сев, ты же видишь, я живу, как бог, мне ваши дела до лампочки... Но ты все же на случай узнай, если я захочу вернуться, примут они меня или нет...

МАРИЯ И МАРИЯ

Рассказчик не хочет сразу же, с первого слова, называть все вещи своими именами!

И называть имена людей, гор, морей, заливов и побережий он тоже не намерен. Во всем этом нет ни малейшей тайны, однако же пусть имена придут сами, пусть придут все те, которые известны.

А неизвестные пусть останутся неизвестными.

Художественная литература всегда условна, а рассказчик и не скрывает своего желания быть причастным к художественности.

И вот они — Горы, вот оно — Море, вот он — Полуостров. Вот он — Юг.

Южнее вот этого Юга на Земле еще много земель, морей и гор, и полуостровов тоже немало, но все равно это Юг, хотя бы потому, что здесь растут пальмы.

Еще невысокие и неплодоносные, но уже растут. А там, где начинают расти пальмы, начинается Юг, и люди Севера едут туда, чтобы дышать теплом и жить под южным небом. Чтобы вылечивать легкие и продолжить свою жизнь после того, как недуги начали упорно сопротивляться этому продолжению.

Чтобы продолжать не только свою жизнь, но и свою судьбу.

Ведь Судьба — это не совсем то же самое, что Жизнь?

Поэтому и случается, что у человека уже нет жизни, но все еще есть судьба. Случается и так, что мы живем, не замечая своей судьбы, как будто бы и нет ее и не бывает никогда на этом свете.

До сих пор неизвестно, что лучше, а что хуже, и даже какой вариант встречается чаще — первый или второй, тоже никто не подсчитал, но в этом рассказе речь идет о женщинах, для которых жизнь была не чем иным, как только их судьбами.

Вообще жизнь-судьба более свойственна женщинам, чем мужчинам. Кажется, так показывает статистика, если она что-то показывает.

И вот было время, когда на берегу Моря, на Полуострове странных очертаний, поселились две женщины — Мария и Мария.

Ни та, ни другая не была матерью, и та и другая на много-много пережили своих любимых, круглым счетом — на полвека, и обе умерли в глубокой старости в полной памяти, в полном сознании совершенных ими женских судеб.

И та и другая в течение этих долгих-долгих одиноких десятилетий хранили память о своих любимых.

На берегу причудливого Полуострова и теперь стоят два дома, сложенных из вулканического туфа, два дома, построенных почти в одно и то же время и строго в соответствии со складом характера, вкусами и представлениями о жизни тех поэтов, которых любили Марии,— один дом у самого моря, с башней для далекого-далекого обозрения, другой — без башни, но высоко в горах, один — в пустынном уединении неподалеку от деревни, другой — посреди древнего поселения.

Летом эти жилища были живописны, уютны и милы. Казалось, что весь Полуостров и все прилегающее к нему Море ласкают их.

Потом, освобожденный от перезревшей зелени, от ослепительно яркого солнечного сияния, от летней публики, Полуостров обнажал другие краски своей земли и своего моря, и тогда, продолжая жизнь изначальную, не раскрашенную и не слишком переполненную живыми существами, но приближенную к Земле, Полуостров приобщал жилища своих поэтов к одиночеству.

Одинокими тогда становились два белых дома, один — с башней, на берегу моря, другой — высоко в горах, но это было им вполне свойственно. Туманы, и дожди, и мокрый снег никогда ведь не становились врагами сколько-нибудь одетой-обутой поэзии.

Если на то пошло, яркость и чрезмерное многолюдье для нее гораздо опаснее.

После смерти своих любимых всею своей жизнью и своими судьбами Марии хранили эти жилища и все предметы их комнат, и воздух, заключенный там, и календари, когда-то отсчитывавшие роковые сроки.

А множество людей из года в год посещали эти жилища.

Были годы, когда весь Полуостров причудливых очертаний и еще многие земли подверглись страшному нашествию чужеземцев.

И Земля горела тогда, города, и деревни, и поселки горели и разрушались тоже, люди бежали прочь, но Марии и тут не оставили своих жилищ, продолжая сохранять каждый предмет и каждую частицу воздуха, заключенного в стенах, сложенных из вулканического туфа.

Когда же земля была наконец снова освобождена — много легенд возникло о том, как сохранились два белых дома. Каким чудом? Каким невероятием?

Рассказывали, будто бы одна Мария не боялась требовать от вражеского офицера удалить артиллерийские орудия от белого дома

с башней, так как орудийный грохот обязательно повредит оконные стекла.

Ходили слухи, что другой Марии, в ее белом доме без башни, тайно сочувствовал офицер, проникнутый уважением к памяти некогда жившего здесь художника.

Почему? Как так? И не сама ли уж дева Мария замешана во всем этом?

А почему бы нет?

Всякая легенда о сохранении сущего не столь уж легендарна, если присмотреться к материнству всего на свете, всей не только одушевленной, но и неодушевленной природы, к тому, как из одного облака возникают два, из одного камня — три, а из холмов — горы, а из рек — моря, а из грунта — почва... Посмотреть, как сущий младенец древесный лист, все еще ожесточенно пахнущий материнскими соками и в то время, когда еще не закончился акт его рождения, уже обретает те единственные очертания и формы, которые строго соотносятся со смыслом и назначением его будущей жизни в этом мире...

Любое из этих превращений есть материнство, и не будь его, мир оказался бы пуст, сколько бы в нем ни присутствовало неизменных предметов, и вот человек почувствовал это, эту возможную пустоту, и задолго до христианства выразил чувство в легенде, создавая образы Кибелы, Изиды, Деметры, Астарты, а затем уже и Марии, некогда вошедшей в храм, чтобы самой стать храмом рождения и любви не только к ребенку, не только к человеку, но и к человечеству. И ко всему миру.

И храмом бесконечной преданности всему тому, что есть истинная любовь.

Ну, конечно, это слишком, это непомерно много для одной женщины, хотя бы и Богородицы, быть святой во все эпохи, и вот она поделилась своей природой с другими женщинами.

Конечно, она не обошла своим вниманием и наших Марий, в чем-нибудь, но и они, цивилизованные, путешествующие в скорых поездах, пишущие какие-нибудь прошения на имя то одного, то другого государственного служащего, посещающие модисток, театры и парикмахерские, в чем-то они обязательно напоминали ту изначальную деву Марию, даже если и не преследовали этой цели.

Так или иначе, с молитвами или без них они до конца оставались преданными своей любви и своей судьбе любящих женщин и вот сохранили жилища из хрупкого туфа вулканического происхождения в то время, когда одно за другим рушились пограничные железобетонные укрепления и целые государства.

А невыдуманные судьбы оказались в сказочном совпадении, потому что обе они любили: одна — мужа, другая — брата.

Но обе любили.

Однако тут же начинаются и необыкновенные между ними различия, потому что те, кого они любили,— муж в доме с башней у самого моря и брат — в другом жилище, высоко в горах, были художниками.

А истинные художники никогда не бывают одинаковыми, и к ним и ко всему тому, что они творят, не относятся многие законы сходства между людьми.

Не так уж редко случается, что у художников нет ни копейки, но это не мешает им иметь планеты, на которых они вот так и живут, не обладая никакой другой собственностью, кроме собственных миров.

Для поэта, который жил у самого моря в белом доме с белой башней, весь окружающий мир был не чем иным, как им самим.

Его талант оказался способным вбирать мир в себя — горы, море, может быть, и Солнце — это все было им, а все то, что не было им, не существовало для него в этом реальном мире. Вполне возможно, что не существовало и ни в каком другом.

Когда-то этот поэт, будучи к тому же живописцем, открыл, что один из горных отрогов, ниспадающих с Полуострова в Море, по своим очертаниям не что иное, как профиль его собственного лица... Огромнейший человек, в миллион, в миллиард раз больше человека обыкновенного, погрузился в море, а голову с вьющейся бородой возложил на сушу.

И это была его собственная голова, и борода его, и весь профиль — его же, и здесь именно, поблизости от замечательного горного отрога и вскоре после своего открытия, он и стал поэтом.

Стал им, чтобы изо дня в день взирать на колоссального себя, чтобы разгадывать собственные могущественные черты.

А другой отрог, чуть восточнее, неповторимо преображал солнечный свет в легкое, с фиолетовым оттенком сияние, и это означало, что здесь должна быть могила поэта. Фиолетовое сияние, не здешнее, а потустороннее, было тому неопровержимым доказательством, кроме того, и очертания горного отрога опять-таки напоминали огромный саркофаг. И звезды над этим домом, предназначенным для мертвого художника, тоже мерцали подобно тлению чьих-то голубоватых и вечных свечей.

Все-все имело здесь тайное, но вполне доступное уму и чувству нашего поэта предназначение. Все вокруг имело великий смысл истории: он отчетливо, в красках, представлял себе движения народов и цивилизаций по серой поверхности пустынного плато, которое начиналось почти сразу же за оградой его жилища, а тогда в поле его зрения являлись исторические драмы и трагедии, и непостижимость былого, настоящего и будущего становилась постижимостью.

Он был пантеистом, наш поэт, но опять-таки поклонялся не столько природе, сколько самому себе в природе, он обходил побережье после морских бурь, подбирая выброшенные на берег причудливые корни деревьев и раковины, случалось ему найти и щепы древних кораблей, и в этих предметах он снова обнаруживал себя, свое «я», погруженное в морские пучины на тысячу лет. Теперь оно подавало ему весть, возвращалось к нему, современному, желало воссоединиться с ним.

Он встречал восходы и провожал закаты Солнца, стоя на белой башне своего белого дома, одетый в белый хитон, с сыромятным ремешком вокруг головы, в сандалиях на босу ногу, и чувствовал при этом тепло своего тела как солнечное тепло и, по всей вероятности, ничуть не удивился, если бы ему сказали, будто своим теплом он хоть и немножко, но все-таки нагревает Солнце.

Путешествуя по миру, он привез в свой дом маску древней царицы Египта и повесил ее над деревянным супружеским ложем, чтобы по ночам полоска лунного света, пробиваясь сквозь ставни, падала на таинственное изваяние... Он следил за движением лунной черты от виска к виску царицы, угадывая течение ночных часов, а по выражению царственного лица он распознавал судьбы будущего человечества.

И с огнем он тоже имел нечто общее, какие-то тайные связи, взаимоотношения и даже взаимопонимание. Очевидцы утверждали, что однажды он взглядом потушил пожар.

И с людьми отношения у него тоже были самые фантастические. Говорят, будто в годы, когда на Полуострове шла гражданская война, весьма боевой крейсер военно-морского флота великой Британии открыл огонь вблизи жилища нашего поэта.

Снаряды ложились в пустынную поверхность горы-саркофага, предназначенной им для своей могилы, и поэт был возмущен, он поднялся на башню и просигналил на крейсер: «Прекратить огонь!»

Командир крейсера удивился и послал на берег шлюпку. А когда человек в белом хитоне взошел на палубу крейсера, командир спросил его:

— Кто вы?

— Я — Поэт! — ответил наш поэт.

— Шекспир? — Командир оказался любителем классической поэзии.

— Шекспир тоже был поэтом, но совсем не таким, как я!

Они поговорили о Шекспире, и командир спросил, не хочет ли поэт покушать.

— С удовольствием! — ответил поэт и покушал.

— А не обидится ли поэт, если командир предложит ему приобрести на берег некоторый запас продовольствия?

— Ничуть! Человечество должно поить и кормить своих поэтов, иначе оно обожрется и погибнет!

И, должно быть, чтобы этого не случилось, наш поэт отбыл на берег с тем запасом продтоваров, который вместила шлюпка, а крейсер ушел, не сделав больше ни одного выстрела — ему было приказано обстрелять берег, и он сделал свое дело и ушел.

Однако Мария нашего поэта была, по всей вероятности, уверена, что ее возлюбленный предотвратил войну на восточном побережье Полуострова.

Мария была женщиной, перед которой чудеса и весь этот мир, исполненный чудес и тайных смыслов, никогда не предстали бы воочию сами по себе, но теперь это была ее реальная жизнь, потому что реальной, потому что действительной, потому что вечной и непоколебимой была ее любовь к поэту.

И вслед за ним она тоже ступала на его планету и теперь ориентировалась там иной раз лучше, чем он, лучше зная, что и где здесь хорошо, а что плохо, и даже где на этой планете расположены цветущие оазисы поэзии и вдохновения, а где — одни лишь пустыни да мелкие и тоже пустые домашние заботы.

А поэт, который построил свой белый дом без башни, высоко в горах, на одной из кривых улочек древнего поселка, был прозаиком... Прозаики тоже бывают поэтами, хотя и на свой лад.

Юг не смог исцелить его легкие, и он недолго жил там со своею сестрой Марией, он умер.

Последние годы жизни были очень трудными для него: пятнадцать минут нужно было ему, обессилевшему, кровохаркающему, чтобы надеть на себя сорочку, но никто не знал об этих тяготах, может быть, даже сестра Мария и та не знала все о том, как это было трудно.

Потому что он сам не хотел до конца знать свои собственные тяготы и недуги.

Он был врачом, он мог бы знать о них все и даже больше, чем все, но не хотел этого.

Это незнание очень просто и естественно вписывалось в его знание всего того, что называется повседневными отношениями между людьми, причем тактичными и умными.

Без отношений людей друг к другу нет людей, а все-таки никто не умеет создать эти отношения такими, какие требует природа вещей.

Он же, наш поэт-прозаик, не только знал эту природу, но безукоризненно умел ей соответствовать.

И не попусту говорил о том, что в человеке должно быть все красиво. Он никогда не говорил попусту, тем более незадолго до своей смерти.

Потомок недавних крепостных, он одинаково презирал и плебейство и барство, и не только презирал, но всегда умел быть чуждым тому и другому, умел в любом самом незначительном поступке... На

аптекарьских весах он взвешивал каждое свое письмо, чтобы вес не оказался выше установленного почтовым департаментом, но этот почти что педантизм все-таки не был педантизмом, потому что и деловитость и порядок он умел возвести еще и в порядочность. К любому, самому малому факту он умел отнестись как к факту жизни, поэтому и взвешивал письма и не позволял себе хотя бы однажды одеться безвкусно — слишком модно или слишком небрежно.

Он был тонким аристократом, ничем не подавая повода заметить в нем аристократизм.

Он был интеллигентом.

И, наверное, было ему странно оттого, что художники, проповедуя гармонию, то и дело сами были личностями не только негармоничными, но вдоль и поперек исковерканными. Вот он и был несколько чужим среди них и не принимал всерьез мессианство, которое учило жизни, не умея жить само.

Впрочем, не он один постиг судьбу человека, который, будучи истинным художником, остается чужим в храме искусства.

Прихожане этого храма тоже ведут себя по-разному: одни наводят там блеск и порядок, другие во всю ивановскую конфликтуют с храмовым порядком, а третьи — как наш поэт-прозаик: и тут был он сдержан и, от природы обладая наблюдательностью, даже в храме не изменял этой привычке. Ему что храм, что другое какое-то место — он всюду верен самому себе, своей естественности и природности.

А когда так, он был далек от учительствования и от того, чтобы навязывать себя другим по какому-либо поводу — по поводу своих недугов или своих взглядов на искусство — все равно.

И в творчестве своем он был столь же тактичен и скромен, не пугал читателя ни ужасами, ни патологией, не потрясал фантазией, не завлекал сюжетом, не позволял себе пространной философии вокруг малых событий, не делал из своих героев героев, не предсказывал судеб и не стремился к переосмысливанию истории человечества.

Он пуритански ограничивал себя: ведь каждое самоограничение — это уважение к другим, свобода для других, и вот он понимал, что даже та на первый взгляд ограниченная зона, которая оставалась его творчеством, по существу, все равно безгранична, что и здесь художник может сделать неповторимые и великие открытия.

И вот уже простые его герои в простоте и печали своей больше других страдали из-за отсутствия в жизни гармонии, красоты и смысла...

А нам они не навязывались — нет-нет! Нам только предоставлялась возможность сопоставить свою печаль и свою совесть с их печалью и совестью... И тут мы понимали, что его герои совестливей нас, что они нуждаются в духовности больше, чем мы, а все дальнейшее, все происходящее из этого сопоставления опять-таки было дело уже не его и не его героев, а наше собственное.

Его делом было, несмотря ни на что, все-таки поверить в нас, в наши чувства и в наш разум.

Нельзя даже было сказать, кто же этот поэт-прозаик: или он самый божественный среди художников, или самый безбожный?

Конечно, эта беспримерная в искусстве скромность и тактичность была несовместима с эгоцентризмом, и вот он не только не подчинял себе мир в его прошлом, настоящем или будущем, не только не приравнивал себя к миру, он как будто бы сам в мире растворялся, переставал в нем лично существовать, и тогда и только оттуда, из глубины мира и как его частица, он и говорил с нами.

Он был малоинтересен сам себе. И, написав томы рассказов, повестей и драм, лишь несколько раз, и то косвенно, упомянул в них о себе, напомнил о своем присутствии среди нас и среди своих героев.

Будучи личностью исключительной, он никогда не хотел об этом знать. Он был подозрителен, а иногда и сердито-насмешлив по отношению к прижизненной исключительности, он знал, что все равны перед жизнью и только смерть вправе нарушить это равенство. Только она решит, кто и кем был при жизни.

Это был гений без легенды, обыкновенный гений и тем самым единственный.

А его сестра? Его Мария?

Ведь речь же не столько о поэтах, сколько о Мариях?

Ведь для любви и подвижничества его Мария должна была откуда-то черпать сильную веру в значительность своего брата?

Откуда же?

Он не подавал сестре ни одного знака.

Скорее наоборот, он препятствовал поступлению к ней любых знаков, которые хотя бы изредка подтверждали его гениальность.

В белый дом без башни приходили люди, чтобы поглазеть на ее брата, много людей, но брат этого не любил. Даже негодовал по этому поводу.

И она тоже должна была не любить и действительно не любила незваных гостей. И никогда ни с кем ни много ни мало не делила своих сестринских чувств, обрекая себя на одиночество. На полное одиночество и безмолвие — ведь женщина может без конца говорить мужу о своей любви, но может ли говорить об этом сестра брату?

А брат тоже ни словом не подтверждает, что ее самопожертвование не напрасно...

Брат мог бы, наконец, принести утешение и даже счастье, прислонившись и приласкавшись к ней, старшей сестре, пожаловавшись на нездоровье, еще на что-нибудь, а тогда ей, лишенной иной любви, лишенной материнства, это было бы великой наградой...

Но не было и этого...

Разве что выйдя из кабинета к чаю, после долгих-долгих часов безмолвия, брат, усмехнувшись, скажет сестре о том, что по пятницам

у него почему-то занимают без отдачи. Сегодня пятница, и приходили какие-то люди и тоже заняли...

Еще о чем разговор?

Может быть, обо всем белом свете?

Но самое большое путешествие своей жизни брат совершил не на Лазурный берег, не к египетским пирамидам, а на хмурый, каторжный остров Дальнего Востока. На остров Сахалин.

Ах, гармония, гармония! Она так благозвучна, а в то же время не столько красива, сколько сурова.

Столь разные Аполлоны были у этих женщин, у этих Марий.

Они получили их из рук в руки от самой природы — ведь женщины ближе к природе, чем любимые ими мужчины, ведь они — это связующее звено между женщиной и природой.

Природа вручает женщине предмет ее любви, предмет для нее идеальный, и она же, природа, как будто не до конца доверяя самой себе, требует от женщины, чтобы она подвергла свой идеал дальнейшей доработке. Дальнейшей «доводке», как сказали бы на современном заводе, выпускающем промышленную продукцию.

И вот, если мужчина смел, женщина по требованию природы должна работать над тем, чтобы он был еще и умен; если он умен, чтобы был смел и честен; если он бронзовый — кое-где заменить бронзу деревом; если деревянный — соединить дерево с бронзой. Если он талантлив, тогда немислим перечень всего того, что должна совершить женщина.

Тут уже нет ни пределов, ни сроков, ни планов, ни знаков качества.

И женщина при ненормированном рабочем дне исполняет свой труд, называя его то любовью, то долгом, то необходимостью, то не называя никак.

Наши Марии тоже исполняли все тот же природный труд не только при жизни своих Аполлонов, но и после их смерти, и вот до сих пор побережье Полуострова причудливых очертаний — горы и леса, города и поселки, пески и камни в полосе прибоа — все-все и несмотря ни на что тоже участвует в сбережении памяти поэтов.

И когда в солнечный день вы идете этим побережьем и вам становится грустно и тревожно оттого, что окружающее вас человечество, непостижимо многочисленное и донельзя уплотненное на квадратных метрах прибрежной полосы, так старательно выражает себя через мини — через мини-платья, мини-купальники, через мини-знакомства и мини-любовь, через грандиозное мини всей этой пляж-жизни, и у вас невольно возникает вопрос: «Где же вы? Где же вы, Марии?» — не думайте, будто ответа нет.

Ответ есть.

Только он опять-таки заключен в вопрос: «А где же вы? Где же вы, поэты?»

1979

ЛИЛАСЬ РЕКА

Я стоял на корме катера рядом с Голубевым, согбенно опираясь на поручни, и смотрел на реку как на чудо. Как на некое радостное живое существо с бесконечно вытянутым, прохладно-голубым, глянцево-блестящим, прозрачным телом, вольготно возлежавшим в обширных берегах, за пределами которых сплошной громадой возвышались вечнозеленые хвойные таежные дебри.

Можно было думать, что река купалась в этих берегах. И хотелось улыбаться реке. Здесь все завораживало своим величием, своим покоем.

Голубев сказал задиристо, продолжая задумчиво глядеть на грациозно бегущие за нами вслед упругие волны в белых локонах пены.

— Река! Ведь это неопишимо, а мы пишем. — Скорчил брезгливую гримасу и произнес, нарочито шепелявя: — Река, лентообразный поток пресной воды,двигающийся по земной поверхности от возвышенных мест к низменным под влиянием силы тяжести. — Плюнул за борт, заявил: — Все равно, как песку наелся.

— Так это вы, специалисты, так пишете!

— Ну! Ну! Полегче, — сказал, улыбаясь, Голубев, — а то я вас вопросиком унижу, как бы вы сформулировали понятие идеальной жидкости, без чего немислимы расчеты гидросооружений, для созерцания которых вы сюда и прибыли...

Действительно. Я был потрясен зрелищем строительства очередной величайшей в мире гидроэлектростанции — огромного завода без кровли. Завода, надетого словно железобетонный гигантский хомут на одну из величайших рек в мире. Безмерная, преобразованная в турбинах и генераторах мощь, которая выльется многомиллионнокиловаттной электроэнергией в тяжкие медные провода, вознесенные ввысь стальными опорами мачт, шагающими по огромному земному пространству, и станет их преобразующей всемогущественной, всетворческой силой. И плотина цвета серого гранита, перегородившая реку, была подобна гладко обтесанному горному хребту, созданному словно мощью самой природы, а не человека. Но создали ее люди, свершив библейское чудо. Своей повелительной силой воздвигнув

поперек реки из окаменевшего бетона стену размером с горный хребет.

Но ни у кого из этих людей не было освещено за это деяние чело самосветящимся божественным нимбом. Люди работали, а когда человек работает, лицо его обретает отчужденное, сосредоточенно озабоченное выражение. И мысли их были обращены не к тому, что они уже свершили, а к тому, что еще предстоит сделать, и у каждого из них было свое дело, и из совокупности сделанного всеми выросло это величайшее в мире сооружение, вслед за которым намечалось строить еще более величайшее, и многие из них, завершив работы по своей специальности, переключивались на этот новый объект, еще более величайшее сооружение, где уже закладывался нулевой цикл, который можно воспринимать всегда как первый день сотворения нового мира на земле.

Словом, созерцать все это мне была предоставлена полная возможность. Но на журналистские опросы люди соглашались весьма неохотно. Говорили:

— Передовики? Вот, пожалуйста, на Доске почета! Посмотрите подшивку многотиражки, там все толково про достижения напечатано. Отстающие, конечно, есть, освещаются ежедневно в листовках «Комсомольским прожектором», как и прогульщики, нарушители технологической и вообще дисциплины. Но вот что самое у нас интересное. Побеседуйте с бригадами, которые перешли на единый наряд.— При такой рекомендации лицо человека обретало воодушевление и гордость.— Единый наряд, надо вам прямо сказать, не только коммунистическую сознательность воспитывает, но уже дал эффект роста производительности труда, сплочение коллектива, взаимответственность...

И здесь мне снова довелось переживать то же самое, что я пережил, побывав на моторостроительном заводе, видя на стендах двигателя, в малых габаритах которых размещены такие мощности, что ими смещаются обыденные понятия — времени, пространства, движения. И если взять в руку детали этих механизмов, то по сравнению с ними самые изысканные ювелирные изделия выглядят как грубая слесарная работа.

Но этим деталям назначено выдерживать чудовищные вулканические напряжения, такие же температуры и после тысяч часов работы выглядеть как новенькие. И когда я держал некоторые из них в руке, легкие, как рыба кость, и столь же дивно прихотливой и совершенной формы, которая сотворяется только самой природой живого организма, я испытывал изумление перед гением человеческого творчества, воплощенным в этих изделиях.

И я был весь во власти этого ощущения — чуда труда человека. Но разговора, как творится это чудо, у меня на заводе не получилось. Собственно, этот разговор был, но велся он совсем в ином плане.

Мне с увлечением рассказывали о том, что внес нового в заводской коллектив метод работы бригад по единому наряду, как это высветлило духовные, нравственные, творческие качества людей, что именно с такими качествами можно смело идти сквозь проходную нашего времени прямо в коммунизм. И доказывали правоту прозрений цифрами и фактами достигнутых многомерных показателей.

Ну что же, значит, наступило такое время, когда изделия, сотворенные человеком, являются прямой овеществленной силой его знания, духа, убеждений. И без постижения самого создателя предмета вряд ли следует восхищаться одной технологией, потребной на то, чтобы такой предмет сработать, как бы он ни был удивителен сам по себе. Но, между нами говоря, изобрести литератору образ человека гораздо легче, чем открыть его во всей его полноте, чтобы он и вобрал в себя самое характерное, что столь необычайно отличает нашего обыкновенного человека от людей всех иных времен.

Я знал, что среди знаменитых гидростроителей Голубев пользовался большим уважением, хотя сам он никогда не возглавлял ни одной стройки, но, будучи видным специалистом по проблемам гидродинамики, принимал участие в разработке проектов уже многих гидростанций.

Это был человек крупного телосложения, с большим, открытым, несколько костистым лицом и светло-серыми, частенько насмешливо прищуренными глазами. О себе он сказал:

— Я, собственно, нахожусь здесь довольно-таки в двусмысленном положении — считаюсь перебежчиком.— И пояснил: — Поскольку методами гидродинамики можно исследовать также движение газов, если скорость этого движения значительно меньше скорости звука в рассматриваемом газе. Но при скорости движения газа, близкой к скорости звука или превышающей ее, начинает играть заметную роль сжимаемость газа, и тогда методы гидродинамики уже неприменимы. Такое движение газа исследуется в газовой динамике. Так вот, я увлекся теперь изучением не жидкостей, а газов. Понимаете? Ну, словом, с земных дел подался в небесные. Участвую в создании авиадвигателей, наделенных способностью в три эм. Не разумеете? Тогда вот: лайнер, на котором вы изволили сюда прибыть,— это самоходная баржа по сравнению с тем, что является предметом, ради которого я и оказался, по мнению моих коллег, изменником.— Он расправил плечи, мечтательно и добродушно улыбнулся и сказал: — Но, признаться, я все-таки на всю жизнь влюбился в наши сибирские реки и покинуть их не могу в силу особой привязанности. Поэтому связи мои с гидростроителями остаются в силе.

Привязанность к рекам сибирским! Я тоже сам это испытывал. Нет на земле рек похожих. И каждая бесконечно изменчива в своем облике, ибо она источник жизни и живет своей жизнью.

Могущество Сибири можно обозначать могуществом ее рек с их бесчисленными ветвями притоков.

Лесные богатства Сибири, питаемые ее реками, — это ее зеленый океан с вечнозелеными нетленными хвойными громадами, казалось, подпирающими своими вершинами плотные слои небесного пространства — бессмертные хранилища драгоценной чистоты воздушной среды. Если б не полноводье сибирских рек, плавучий панцирь Арктики оковал бы замертво, навечно, необъятно и губельно для всего живого материк. Реки Сибири своими мощными водами атакуют льды Арктики, сокрушают их и теплом своим защищают материк от ледового плена.

Водные сокровища Сибири в их истинной, всевозрастающей для жизни планеты ценности еще полностью не постигнуты, не оценены достойно. Они творят жизнь, исполнены всеисильной энергии жизни.

Реки Сибири проложили человеческой отваге пути сквозь недоступные пространства и своей силой внушали человеку веру в свои силы одолевая неодолимое.

В эти дни проходило совещание в штабе строительства гидростанции, на которое прибыли из Москвы ученые, представители министерств и ведомств. Эти совещания были подобны совещанию в штабе фронта. Докладчику предоставили десять минут, оппонентам от трех до пяти. Решения выносились тут же, и те, кто должен их выполнить, незамедлительно покидали совещание. Изредка Голубев подавал, озабоченно сощурившись, реплики. Но, очевидно, содержание их было столь значительно, что они мгновенно становились объектом обсуждения. Здесь никого не убеждали. В ходу были только аргументы предельно сжатые, как формулы уравнений для решения сложнейших задач с многими неизвестными. Если выступающий говорил более пяти минут, председательствующий прерывал его, но не за нарушение регламента, а за нечеткость, расплывчатость вносимого предложения или ответа на предложение. Да, здесь каждое слово было весомо, энергично и бездельные слова отвергались. И я завидовал умению этих людей в нескольких словах изложить самое существенное, главное. Как в действующем механизме не может быть лишних деталей, так и в их выступлениях не было лишних, нерабочих слов. И когда совещание кончилось, ко мне подошел Голубев с изможденным и даже похудевшим за эти дни лицом и сказал, отдуваясь:

— Ну, прогнали испытания по всем параметрам с полной нагрузкой.

— Турбины? — спросил я.

— До турбин дело еще не дошло, — снисходительно улыбнулся Голубев, — их еще монтируют. Друг друга в упор проверяли, кто, как, на что годен. Некоторых даже в обязанностях перемонтировали. Из руководителей перевели в руководимые в связи с малым запасом

прочности знаний и слабым умением ими пользоваться. — Он потянулся и вдруг заявил с воодушевлением: — А что, если нам с вами взять и мотануться по реке? Мне — для осмысливания кое-каких возникших чисто технологических проблем, вам — для созерцания прекрасного.

Я охотно согласился, тем более что после беседы с бригадиром комплексной бригады Евгением Ивановичем Сазоновым мне самому надо было кое-что осмыслить.

...Мы сидели с Сазоновым на бетонноскальном гребне плотины, оттуда, с ее авиавысоты, открывалась панорама всей стройки, весь ее рабочий фронт, и башенные краны возвышались над нами, простирая в поднебесье свои долгие стрелы с еле зримыми нитями тросов с подвешенными к ним немислимыми стальными тяжестями, которые, казалась, обретая летучие свойства, поднимались ввысь сами по себе.

Стройка с этой высоты выглядела как плацдарм, на котором действуют части и подразделения мотомеханизированной армии. Люди были в машинах, и машины эти казались дистанционно управляемыми, подчиняясь целеустремленной, организующей их работу и движение единой и мудрой воле.

Сазонов, морщинистый, худенький, седоватый, но с моложавыми голубыми озабоченными глазами, в чистенькой, узковатой даже для его комплекции спецовке, опоясанной широким толстым брезентовым поясом верхолаза с прикрепленными стальными петлями и с такой же тяжеловесной стальной пряжкой, вначале все беспокойно озирался на оставленный им участок работ его бригады. Но потом, как бы смирившись, опустил глаза, пожевал губы и спросил:

— Вас как интересует — для себя или для газеты?

— И то и другое.

— Если для печати, так про нас много написано, даже больше и ни к чему.

— Это почему же?

— Да так, показатели наши — вон они. — Сазонов кивнул на доску, где были выписаны показатели его комплексной бригады на сегодняшний день, который, опережая самое время, фактически мог быть отнесен к восьмидесятому году.

— Ну, давайте тогда просто так, про жизнь.

— Так она у меня длинная, всего не упомнишь.

— Воевали?

— А как же, как и все. У меня братьев семь, всей толпой нам не удалось. По очереди на фронт уходили. Отец у меня богатый на детей. Еще две сестры тоже на фронт сбежали в санинструкторши. Вернулся с войны, от братьев одни портреты остались. И извещения. Но семейство у нас, как было, в полном составе.

— То есть как это?

— А так, как похоронку родители получают, так сразу из детдома себе в усыновление брали ребятишек. Ну, я женился, от себя еще двоих девчушек добавил. Сестры на фронте себе женихов нашли, те их и увезли по разным городам.

— Так ведь трудно было такую кучу воспитывать?

— Завод помогал. Родители привыкли к тому, что в доме всегда суета была. А без нее какая жизнь? Нету жизни. На заводе отец с людьми и дома — тоже. Отец бригадой в мартиновском командовал, ну и дома такой же, но только малолетней. Опыт имел: нас вырастил в людей, ну и приемышей такой же манерой выращивал, как и нас. На принципе самообслуживания и полного друг к дружке доверия и уважения. Ребятишки приемные, братишки мои, конечно, горькой судьбы, сироты войны, из эвакуированных. Самый младший, так он после фашистского концлагеря, у него там кровь брали. Специальный бункер для малолетних имелся для снабжения кровью фашистов на фронте. Слабый очень парнишечка был. Ну, мы его всем гуртом выходили. Теперь на заводе в начальника цеха вырос. А я вот в гидростроители подался. Отец еще в девятьсот пятом баррикады строил, а я, значит, плотины для социализма. — Усмехнулся. — Если вас про единый наряд интересует, так я вам так объясню. Маркс, к примеру, на шортук ссылался, а я, допустим, на пиджак, вроде как на вас. Если рассуждать по сдельщине, то для шитья пиджака — у каждого своя специальность. Каждый за свою работу получает отдельно, сколько сработал, столько и заработал. Но если кто брак сдал? Пиджак получился уцененный. Факт? Факт! Кто страдает? И потребитель и производство. За такой пиджак ни материального, ни морального стимула никому не будет. А единый наряд, коротко говоря, по готовой продукции всем оплата за работу с прибавкой на квалификацию, и качество, и количество. Значит, все мы не только за себя, а каждый за всех, при этом с общего котла на всех больше получается, потому что каждый в каждом заинтересован, каждый каждого подтягивает, обучает. Как наряд закрываем, на совете бригады все обсуждают: кто как работал, кто получил, тем добавка, кто похуже — снимаем часть с полочки. Все по совести решаем и вознаграждаем коллективом публично при всех, сколько кому причитается.

— Но ведь не все у вас добросовестно работают?

— Ясно, — сказал Сазонов. — Не без этого. Но от многоглазого коллектива не скроешься — все рядом, все заметно. Рабочая совесть — она лучше всякого ОТК. Она ОТК, только непрерывного действия и воздействия.

— Но ведь бывают прогулы, отклонение от норм поведения...

— У каждого сбой может быть. Обсуждаем. Кроме того, книгу записи имеем. Книгу рабочей совести. В ней обязан при таких случаях человек собственноручно описать и объяснить свой проступок.

— А если не захочет?

— Убеждаем.

— А если не убедите?

— Значит, он бригадный устав не признает, тогда его и бригада не признает за своего товарища по работе.

— Тогда уходят?

— Уходили, а потом возвращались, просились обратно. Потому что по единому наряду и выгодней работать и по-человечески приятней.

— А если у кого квалификация недостаточная?

— Тогда наша вина — мы же лично в каждом заинтересованы, чтобы каждый у нас свою квалификацию повышал и даже несколькими профессиями овладевал, чтобы простое оборудование не было. Словом, получается такая картина, как, скажем, дома в дружной семье, все друг про друга все знают, все друг за друга беспокоятся, все друга за друга в ответе, и все друг за друга держатся. Кроме того, имеется совет бригадиров. Ну это уже большая сила. Не посоветовавшись с советом, решения не принимают. Получается вроде как наша бригадирская Советская власть по всему плацдарму стройки. Ну и, конечно, всего того, что жизни людей касается, их достоинства, престижа, благополучия. И вполне понятно, уж кто-кто, а мы, бригадиры, соображаем заинтересованно, в смысле того, что касается организации производства, техники ее использования. Механизации, рационализации и всего прочего, от чего производительность нашего труда зависит. — Сазонов вздохнул, осведомился: — Ну что? Может, хватит? Это я вам только, конечно, попросту и на скорую руку. Вообще-то еще всяких коллизий хватает. Одно — каким человек должен быть, другое — какой он есть. И всегда, каким он должен быть, останется для нас всех целью жизни, для всех, кто при нас живет и после нас жить будет. — И Сазонов снова стал беспокоиться озираясь на тот участок, где работали его люди.

— Но, очевидно, такая атмосфера сложилась в вашей бригаде благодаря влиянию и лично вашему.

— А при чем здесь я? — удивился Сазонов. — Такое движение по всей стране пошло, зачали его машиностроители, а мы подхватили. А мне лично, что ж... — Сазонов задумался, потом, помедлив, сказал: — Вот говорим мы: коммунистический труд! А он должен не только производительность поднимать, но и человека! Я вас нудить нашими цифровыми показателями не стану, но вот люди у нас в бригаде срослись, это цифрами не докажешь. Ну, а чем? А вот, к примеру, приходят на работу в положенное время, а уходят позже. Смену отработают, а сидят, не расстаются, разговаривают каждый о своем, а всем интересно. Не сразу, значит, домой тянет. С моей точки зрения, это большой человеческий показатель, хоть его ни в какую графу и не впишешь... — Посмотрел рассеянно в бездну котлована,

сказал: — Вот на фронте мы сильно солдатской дружбой сроднились, идешь в бой, знаешь, пока кто живой — выручит до самой своей смерти, а выручит, так то высшая мерка надежности в человеке за человека. — Взглянул на меня уже пылливо, произнес настороженно: — Я это к чему. Конечно, тут не то же самое. Но если люди друг другом так заинтересованы — значит, коллектив. Значит, бригада общим делом дышит.

— Я вас понял...

— Ну, вот! — обрадовался Сазонов. — Значит, существо учуяли. А все остальное поглядите в подшивке газетной, там все: и цифры, и факты, и выкладки, как и что у нас получается в смысле всех причитающихся с нас показателей... — Поднялся, кивнул на прощание и полез ввысь по арматурному сплетению, туда, где с опущенными забралами на лицах ютились сварщики и перед каждым из них трепетало бело-звездное свечение.

Я перешел к противоположному краю плотины, к той стороне, где уже натекало из реки будущее море.

Отсюда хорошо была видна просека в тайге, подобная бесконечно-мужелью, на дне которого стояли опорные мачты с многовесными гирляндами изоляторов и тяжело обвисшими кабелями высокого напряжения. Это по ним теперь потечет превращенная исполинская энергия могучей реки, работающая на всю страну. Я стоял на вершине каменного гигантского монолита плотины, словно изваянного из серого гранита, возведенного волшебным трудом человека. И мысленно перед моим взором вставало видение солдатского окопа в разрывах огня, стали, где, учащенно дыша, люди выжидали сигнала к атаке. Подняться из этого окопа было равно тому, чтобы выйти на расстрел. А они поднимались и шли. Шли и побеждали. И снова окапывались на следующем плацдарме, и снова, учащенно дыша, выжидали сигнала к атаке, и снова бой — во имя людей, за человека, каким он должен быть и какой он есть, такой обычный и столь необыкновенный, наш советский человек.

Широко и просторно плыла река, вольготно раскинувшись в своей сверкающей красоте. И когда на обрывистом берегу вырастали изломанные башни утесов, они походили на угрюмых стражей, которые караулят реку, чтобы она от них никуда не убежала и никто не похитил ее. Река лилась под небом, укрытая небом, и по ней плыли белые пушистые облака. Потом ее стали тискать каменные, скалистые берега. И здесь она помчалась водяной лавиной.

Холодные чистые воды ее были столь прозрачны, что казалось, мы невесомо парим в ущелье, дно которого выстлано свежесмытой блещущей галькой и глыбами камня, борогато поросшими водоросля-

ми, шевелящимися словно от дуновения ветра. Парим. Парим, увлекаемые не водным, а воздушным течением, будто на планере.

Отвесные слоистые стены ущелья отражались зыбко своими мрачными тенями и выглядели на воде, словно призрачные скалистые ее подводные гряды.

Там, где на дне реки покоились огромные обломки стен ущелья, река бесновалась над ними, тужась смести их со своего пути, вздуваясь упругими буграми водяных мышц, хрипя и рыча разъяренно над этими препятствиями, упорно крутя вокруг них свивающиеся в водовороты свои струи, напряженные, как туго натянутые нейлоновые тросы.

Река мчала нас. И я испытывал состояние невесомости, какое испытывает каждый из нас — во сне, в детстве.

Голубев обернулся ко мне и сказал:

— Ну что, здорово я угощаю вас рекой? Вот пожить бы при ней бакенщиком. А нам на земле тесно, в космос лезем. Кстати, при ее же собственном содействии.

— А при чем здесь река?

— При том, что для получения сверхлегких, сверхпрочных и сверхчистых сплавов потребны и колоссальные энергетические источники, питающие сверхмощные агрегаты, где почти при плазменных температурах выплавляются искомые материалы для одоления пространства со сверхзвуковыми скоростями в условиях обычного авиационного обитания с соблюдением правил при состоянии невесомости.

— И что при вашей новой инженерной специальности лишает вас возможности смотреть на реку не просто как на реку, а лишь как на некий электроэнергетический источник.

— Ну, это вы зря, — усмехнулся Голубев, — специальность человека не обезчеловечивает, как бы он ей ни был предан. А с этой рекой меня многое связывает.

— Вы что, сибиряк?

— В сущности, да. Но прибыл я сюда, если хотите знать, в годы войны. В теплушке с эвакуированными ребятишками, хилый, слабый, заикался. Все мы были полудохликами, многие во время бомбежки раненные. Меня, например, довольно основательно порезало вышибленным взрывом оконным стеклом. Порезы заживали плохо, лежал забинтованный. Почти не спал, плакал. Как все мы, о родителях. И была с нами тоже наша ленинградская, даже с одного дома, где я проживал, тоже сильно стеклом порезанная девчужечка, белобрысенькая, худенькая, скелетик. Но если многие из нас от слабости, от переживаний были уже как бы безнадежными и ко всему от этого равнодушными, то в этой девчужечке, хотя, когда она засыпала, нянька всегда пугалась, принимая ее уже за покойницу, было столько воли к жизни! И даже не к своей жизни, а за нашу

тревога: бывало, сползет с постели, вся в прилипших к телу бинтах, обходит койки и каждого трогает, спрашивает: «Ты живой?» И требует: «Ты смотри, живи теперь обязательно, раз всех кормят так, что даже все не влезает».

Если мы действительно помногу и хищно, не испытывая вкуса пищи, торопливо ее глотали и локти на столе вокруг миски широко, защитно расставляли, все боялись, что отнимут. — Голубев закурил жадно, продолжал неохотно, скорбно, словно заново переживая пережитое: — Ну, детьми в том понимании, какое у нас теперь существует, мы уже не были, что, конечно, трудно было понять и постичь нашим сердобольным воспитателям. Какие нам игрушки для развлечения ни придумывали — все зря. Способность к детскому воображению у нас отсутствовала. Хлопнет сильно дверь — мы под стол. Как рекомендовалось во время бомбежки. Если кто из наших ребятишек умирал, относились к этому спокойно. К покойникам мы привыкли еще дома. Возможно, я тогда самым дохлым был и по ночам больше других бессонно от тоски хныкал. Только девчушка эта, Нина ее звали, повадилась ночью ко мне под одеяло забираться, лежит, прижимается и шепчет сухими губами, прислонясь к уху, чтобы других не беспокоить. Сердито шептала, настойчиво: «Мы тут подъедем, поправимся, а потом с тобой на фронт убежим и будем убивать фашистов, украдем ножики из столовой и будем их резать, и за папу и за маму убивать будем, и за ребят с нашего двора, которых в бомбоубежище завалило. Но для этого надо сильно наесться, поздороветь, чтобы в ходячие попасть, и всех обманем и убежим».

И всегда она, каждый раз заново, придумывала, как легче в вагон пробраться, сколько еды надо на обратный путь запасти и какое время нам понадобится, чтобы отъестся получше и сильнее от этого стать.

Однажды воспитательница застала нас с ней спящими в одной койке. Ну, понятно, как воспитательница на такое реагировала. Но Нина заявила ей с достоинством: «Ну и что такого, раз мы с ним с одного двора?» Выслушав возмущенные и негодующие упреки, сказала сердито: «Ничего вы не понимаете! Когда вся квартира во льду, кто будет спать в одиночку, тот застынет насмерть. Всегда у нас из разных квартир непомерших ребят собирали и всегда в одну кровать укладывали и со всех квартир одеялами накрывали. А кто в одиночку, те помирали». — Голубев смял в руке окурки и, не решаясь бросить его в воду, подавленно произнес: — Вот этот скелетик, Ниночка, меня, можно сказать, к жизни вернула, — девочка с нашего двора и дома, которого уже не было.

И, видимо, желая переменить тему разговора, осведомился:

— Ну, какое на вас произвел впечатление Евгений Иванович Сазонов? Вы же с ним беседовали... — Выслушав, снова как обычно с чуть насмешливой улыбкой пошевелил губами. — А ведь это, можно

сказать, мой брат. Его отец Иван Филиппович забрал меня из детдома и усыновил, как он заявил, взамен своего сына, павшего на поле брани. Женя, его младший, вернулся с фронта покалеченным и сразу в цех... Вот, знаете, есть люди как бы с природно развитой духовной культурой, высокой человеческой чуткостью — так вот это семья Сазоновых; горе, постигавшее их не однажды, они переживали каждый в себе, безмолвно, ради друг друга. Я не знаю, насколько применимо слово «деликатность», но в высшем смысле его это было проявлением ее самым самоотверженным.

Когда я прибыл в их семью, меня никто ни о чем не расспрашивал. Я вошел в жизнь этой семьи так, что сам не заметил — это произошло столь естественно и обычно, будто иначе и не могло быть.

И единодушие этого семейства исходило от отца. Сильного, крепкого, всегда пахнувшего окалиной и с пожизненно загоревшим от жара мартенов лицом. Со всеми он разговаривал одинаково деловито, без снисхождения к возрасту, как равный с равным. Ни от кого из нас, ребят, не требовал соучастия по домашним заботам, но если кто из нас проявлял самостоятельность, это подробно обсуждалось за столом с таким же уважением, с каким Иван Филиппович рассказывал о своей работе в цехе. Нас не приучали к труду, нас вовлекали в труд, потому что главное, что почиталось в семье, — это способности человека, выдаваемые в труде.

Вопреки обычаю фотографии павших на фронте сыновей Сазонова были без траурных рамок, без букетиков бессмертников.

Сидя за столом, Иван Филиппович часто оборачивался к фотографии того или другого сына и говорил о нем как о живом, с гордостью:

— Василий в плечах узковат и долговяз для прокатчика. Но кто его разворотливей? Никто! Он полосу, как в цирке шелковую ленточку, обернет с ходу — и в калибр; не успеет уйти полоса, а он другой таким же манером; двумя-тремя клещами работал: пока двое клещей в кадке с водой остывают, он третьими клещами полосы мотает; а стан двухсотпятидесяти, на нем мужики работали — шея не менее сорок шестого размера, и те на лавку после десяти минут, сырые от пота, валились, а Вася все как играет, инерцию понимал, ею пользовался умно, работал с расчетом, обмысленно. Я вот помню, полосу в валках заело и стало ее корчить, бросать из стороны в сторону. Так все разбежались, а Вася один на один ее, как гадюку, клещами зажал и натягивает, чтобы кого ею не покалечило. Надо думать, на фронте он так же надежен — по работе-солдатски.

А Миша на заводе механиком был, так и на фронт ушел механиком-водителем. Вот он любую машину понимал, как все равно человек человека. Большой любитель техники. Уж чего-чего, а его танк проплет через любые препятствия.

И Голубев, как бы очнувшись от этих воспоминаний, сказал совсем иным тоном, ему только свойственным:

— Что касается младшего сына Сазонова, Евгения Ивановича — с ним вы познакомились. Это человек удивительной открытости, чем он привлекает к себе людей. И я бы от себя добавил — увлеченностью людьми. После окончания школы я хотел идти на завод к отцу... — Голубев поперхнулся, — к Ивану Филипповичу. Но на семейном совете постановили, чтобы я поступил в политехнический. Иван Филиппович категорически заявил: «Если ты когда в Ленинград захочешь, так как же мы тебя отпустим без высшего? Такой город знаменитый, а мы, выходит, тебя у нас до полного ума не довели. Нет уж, выучись на всю полную катушку, тогда и вали...» — Голубев смолк и погрузился в созерцание реки.

А река все текла и текла, бесконечно преображаясь по мере того, как изменялись ее берега. Цвет неба, солнечные отсветы, которые блистали на ее поверхности, — все это словно ее одеяние. И по реке разбегались длинные гибкие волны, будто сверкающие складки ее одеяния, и когда солнце стало близиться к заходу, река порозовела, но у берегов воды ее обрели пасмурный оттенок, и только на стремнине она самоцветно блистала еще, пропитанная насквозь светом и от этого глубинно-прозрачная.

— А что Нина? — спросил я.

— Нина? — переспросил Голубев, потупился, сказал глухо: — Думаю, завтра к утру мы будем проходить таежный распадок, который, собственно, сейчас не таежный распадок, а один из крупнейших рудников по добыче руд весьма редких и весьма ценных.

— Ну и что?

— А то, — почему-то раздражаясь, сказал Голубев, — когда я, будучи студентом, отправился сюда, в этот распадок, в качестве коллектора, то здесь я и встретил Нину в составе самостоятельного геологического отряда, который она, по существу, возглавляла. И, представьте себе, это уже был не скелетик в бинтах и коростах, а весьма привлекательная девушка с ворохом упругих, блестящих, как солома, волос, на обилие которых она всегда сердилась и почти герметически туго обвязывала косынку. И, знаете, на лице у нее остались от порезов стеклом белые шрамики, когда она сердилась, они еще сильнее белели. — И пояснил: — Я это к чему такие роскошные подробности... Вот Стендаль писал, что Рафаэль искал красоту, копируя самые красивые из встретившихся ему женских головок и исправляя их недостатки. По-моему, зря. Симметрия и гармоническое совершенство нужны в технике, но не в живой человеческой природе. Она богаче и многообразней.

— И вы влюбились?

— Мог бы! Но знаете, когда девушка остроумна при всех обстоятельствах от неукротимой в ней живости ума и всегда обуреваема деловой деятельностью, то надо стать ее подчиненным на всю жизнь, или самого себя посадить на цепь. Но вообще обстановка,

в которой жил и работал отряд, не способствовала ни тому, ни другому.

Распадок, по дну которого протекал заболоченный родничок, был похож на лесистое ущелье, где в парном воздухе роились, как жгучая копоть, гнус, комариные тучи, слепни, словом, эти летучие хищные твари могли доводить человека до бешенства, до иступления. Все были в болезненных реческах. А в сетках можно было задохнуться в этой таежной испарине. Мы сначала рубили просеку, затем копали поисковую траншею, и все это от восхода до захода солнца, которого мы не видели в этих всегда сумрачных таежных дебрях. Питались мы рыбой и пресными блинами. Пили час с хвойной заваркой. Обтрепались, закоптились от костров, дымом которых пытались спастись от этой жалящей сволочной мелюзги. И вид у нас был леснобандитский. А скорей нищенски жалкий, таких сразу кладут на больничную койку без предварительного осмотра.

А Нина, представьте, величала нас братьями-разбойниками. И когда я, уснув у костра, спалил значительную часть бывших личных брюк, она сказала мне: «А ну, повернись, сынок! — и стала хохотать и приговаривать: — Это у тебя не мускулюс максимум, а полный их минимум». Так она выразилась и захотела собственноручно исцелить ожоги подорожником, уверяя, что она знакома со знахарским шарлатанством. А когда я ей сказал, что у нее у самой там, где полагаются у женщины выпуклости, одни впадины, она торжественно объявила: «Это я нарочно, чтобы у нас тут не было торжества моего соблазнительного феминизма, все-таки вы все тут в некотором роде полумужчины».

Мы работали, как каторжники, и нас тошнило от запаха земли в траншее. Придя в иступление от укусов, мы пробовали обмазывать глиной, но это слабо помогало.

Как самодеятельный молодежный геологический отряд, нас снабдили скупо снаряжением, питанием, рабочим инструментом. Кроме того, у профессуры института существовало убеждение, что здесь нет и намека на полезные залегаия.

Руководителем отряда был доцент Ивушкин, но он больше занимался рыбалкой или унылым ухаживанием за Ниной, чем нашей работой.

Однажды ночью мы сидели у костра, отдыхая в дыму от гнуса, и Фомичук, прибывший к нам старатель, изгнанный из артели за лень и невезучесть, мощный мужчина с покатыми, как у медведя, плечами и могучим, как у гладиатора, торсом, выпаривал на огне что-то из своего исподнего снаряжения, Нина склонилась к нему и с негой осведомилась:

«Скажите, Фомичук, я вам нравлюсь?»

«А что, ничего», — не оборачиваясь произнес Фомичук, не прерывая своего занятия.

«Вы могли бы изменить со мной своей жене?»

«А я безбабый», — равнодушно сказал Фомичук.

«Ну тем более, чего проще».

Фомичук оглянулся на Нину, спросил:

«Это к чему такой разговор скромный?»

«А вот Николай Николаевич Ивушкин, — она указала на Ивушкина своим угловатым, худым плечом, — считает, что стесняться в наших условиях нам нечего и не для чего. Он говорит, что человек хотя и принципиально новый вид животного, но животное в нем существует, и подавлять животное в себе бессмысленно и даже вредно».

Фомичук нахмурился, спросил неприязненно:

«Так мы от кого, по-евонному, от скота или зверя?»

«Нина! — срывающимся голосом заявил Ивушкин. — Это что? Провокационный выпад?»

«Вот как сейчас Фомичук скажет, — взволнованным голосом произнесла Нина, — так я и поступлю. — Ну, Фомичук, что мне сказать ему? — Нина снова пошевелила плечом. — Да или нет?»

Фомичук оглядел Ивушкина внимательно, помедлил, сказал сипло:

«Так ты вот какую канитель здесь разводишь. Барышня вкалывает топором и лопатой, а ты к ней вяжешься. Да знаешь, что ты после этого последняя вошка? — И сказал, обращаясь к Нине, с упреком: — А ты зачем тут фигли-мигли разводила, сказала бы попросту — пристаёт! Ну, я бы его прихватил за жабры, к реке отнес и попридержал в воде до захлеба. Остудил. Откачал, но бить бы не стал, зачем же его бить, это нехорошо, неуважительное хулиганство. — Обратившись к Ивушкину, пояснил: — У нас в артели стряпуха на всех одна, но пока с тайги не вернемся, считаем, никому не доступная».

«А когда вернетесь?» — спросила Нина.

«Ну, это как кому пофартит, — сказал Фомичук. — У нас на этот счет строгий обычай: пока в тайге, не балуй».

«Ну вот, видите, обычай, — сказала Нина, обращаясь к Ивушкину, — с обычаем следует считаться». И засмеялась так заразительно и звонко, что даже впервые здесь Фомичук разразился рыком, широко обнажая свои беззубые десны с потерянными от цинги зубами.

Кстати, когда остатки нашего отряда зазимовали здесь, буквально подыхая от голода, этот Фомичук наладил нам связь с бакенщиком, проживающим на острове с довольно-таки миловидной супругой. Бакенщик основался безвыездно на острове в силу того, что на фронте его лицо было сильно искалечено, а без людей его жена, мол, перестала замечать его лицо. Бакенщик никого не пускал к себе на остров, но делился с нами последним. С бакенщиком общался Фомичук. Опытным взглядом бывшего фронтовика разглядев его повреждение, Фомичук, как он нам сказал, заявил ему:

«Ну что ты, чудак, ходишь с такой рожей? Да тебе как фронтовику без очереди и промедления в больнице какую хочешь новую наладят».

Может, это сообщение Фомичука подкупило бакенщика на его самоотверженную щедрость. Ну, словом, с его помощью мы не только выжили, но и добыли в шурфе куски породы с драгоценными вкраплениями.

Нина ослабела, у нее началась цинга, я отвез ее с Фомичуком на остров и оставил на поечение бакенщика, а сам с образцами в мешке пошел пешком вдоль реки в сопровождении Фомичука.

На прощание Нина нам сказала с насмешливой улыбкой на костистом бледном лице:

«Так что ж, ребята, пионерский наш лагерь закрываем. Робинзонаде конец. А жаль, вы все такие симпатичные». И, обращаясь к Фомичуку, сказала нежно: «А вас я просто от души полюбила».

Фомичук промолчал, но потом я слышал, как он строго наказывал бакенщику:

«Кормить ее так, чтобы она с недожеванным куском засыпала. Совсем без тела девка. Умная, смелая, живучая. Но без фигуры какая у нее судьба, никто за себя взять не пожелает. Понял? На твою ответственность оставляю. Я человек мягкий, ленивый. Но ежели что, потом всю твою избу по бревнышку раскидаю — и в реку».

Мне же Нина сказала:

«Ну вот я снова дистрофичка. — Спросила, зажмурясь: — Ты меня такую помнишь: скелетик в бинтах, как я об тебя грелась?»

Вот тут я и решил с ней навсегда, на всю жизнь. Но она поняла и вызывающе гневно сказала:

«А теперь проваливай. Но если трусишь до базы добраться, оставайся. Здесь люди жалостливые, не выгонят приживалу...»

И я ушел, кивнув ей только. Мне очень хотелось поцеловать хотя бы ее руку, лежащую, как высохшая ветвь, поверх цветастого одеяла. Вот какие дела были в этом у нас распадке, которого сейчас нет, а есть рудник, построенный на современном высокомеханизированном уровне.

На этом Голубев смолк. Река уже текла под звездным небом, и звезды жили на поверхности реки, трепещущие, как бы только что всплывшие из ее глубин, источающие свет живые существа.

От реки пахло холодом, а от тайги — настоем, душистым, смолистым, теплым и терпким.

Голубев потянулся и сказал:

— Насчет ужина сообразим, пристав где-нибудь к тихой заводи. Предупреждаю, я гурман не столько в пище, сколько в обстановке для ее принятия. Чем ближе к природе, тем яростней аппетит.

— Позвольте, ну а дальше что?

— Дальше? Потом образцы я доставил. Сложил их в экспозицию геологического музея на полку. И больше с геологами не связывался.

Но Нина добилась разрешения на экспедицию, выскандалила где-то там в инстанциях буровой станок. Через год в эти же инстанции прибыли керны с таким богатым содержанием редкого металла, что были отпущены средства на оконтуривание рудного тела. Материалы поступили в правительство, правительство приняло решение. А Нина — что ж, Нина лауреат, член-кор и те пе и те де. Между прочим, этот металл нами, инженерами-механиками, используется для изготовления сверхмощных двигателей для сверхскоростных сверхдальних и те пе и те де. Словом, в коловращении естества и река, и горные рудники, и энергетика, и моя новая специальность связаны одним общим узлом.

— А Нина? Ведь вы же ее любили и, очевидно, она вас?

— Возможно, даже более того — я считаю, что проскочил мимо огромной любви, со своей стороны, конечно. Поскольку, будучи не чужд сентиментальности и не обладая достаточной силой воли, не решился сказать ей о своей любви. А вернее, боялся с ее стороны какой-нибудь снисходительной шуточки по этому поводу. И не понял, что скрывалось за ее гордостью, недоступностью...

Я с ней встретился не столь давно на одном совещании. Красивая, статная, уже немолодая женщина с мешочками под глазами. Она сделала блестящий доклад. Я подошел поздравить ее, когда она с достоинством улыбалась всем поздравлявшим ее с успехом. Мы вышли с ней в вестибюль. Она сказала вдруг потерянно, с отчаянием в голосе:

— Ах, какие мы с тобой были дураки, какие дураки! — И отвернулась и стала копаться в сумочке, очевидно, в поисках платка. И, не найдя его, сказала мне досадливо: — Ах, какой ты! Ну, почему свой не предложишь? Видишь, разнюнилась баба. — Возвращая платок, сказала уже совсем иным тоном: — Ну, как доклад?

И я, глупея, потерянно стал рассуждать о ее докладе так, словно участвую в его обсуждении. И даже сообщил, что оставил гидродинамику и перешел на газовую динамику и найденные возглавляемой ею экспедицией богатые месторождения редкого металла являются для нас весьма перспективными при проектировании и создании новых сверхмощных двигателей. Она снисходительно слушала, кивала. Потом твердо пожала мне руку и сказала:

— Благодарю за информацию, жалею, что не смогла использовать ее в докладе. — И все...

— И вы не решились?!

— Нет, не решился, — сказал, болезненно морщась, Голубев. — Не решился. Есть чувства, которые превышают обычные представления о любви. Возможно, мы с ней и не в равной степени испытывали нечто подобное друг к другу. Непонятно? Но это так!

Мы причалили к берегу заводи и вышли на тенистый берег, окруженный мрачной таежной чащей. Мы сидели у горящего костра,

как на дне шахты, окруженные со всех сторон непроглядной тьмой.

Выплескивая из ведра с ухой тугую, серую пену деревянной ложкой, Голубев говорил оживленно:

— Вот это жизнь! Река! Тайга! Уха! Что может быть лучше? Но если у человека есть мечта и он даст ей прокиснуть, такого человека, как говорил нам Фомичук, за жабры — и в воду до захлеба, после откачать и по шее. — Наклонившись, он сказал мне доверительно: — Над лопаточками турбин с присадками этого самого металла мы сейчас колдуем, представьте, в сплаве с другими он передает им свои свойства. При удаче сулит величайшую фантастику. Именно фантастику, как инженер вам говорю, именно фа-антастику. — Взяв миски, он пошел их мыть к реке и вдруг позвал меня.

И когда я подошел, я понял, зачем он звал меня.

Взошла полная луна и залила все своим недвижимым сиянием. И река купалась в этом сиянии, плескалась в нем, огромная, прекрасная, сверкающая и, казалось, сама источающая такое же сияние.

— Вот видите! — почему-то обидчиво произнес Голубев. — Ну что это? А начнешь объяснять, ерунда какая-то получается. — Вдохнул. — Так вот и в жизни кое-что, бывает, не подчиняется словам — и все.

А река все лилась и лилась, неустанно хорошея, могучая, просторная и несказуемо прекрасная, полная жизни и удивительная, как сама жизнь.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Михаил Колосов. ПАМЯТЬ	3
Юрий Нагибин. ЕЩЕ РАЗ О БОЕ БЫКОВ	14
Нора Адамян. ПУСТЫЕ БУТЫЛКИ	23
Сергей Залыгин. МАРИЯ И МАРИЯ	38
Вадим Кожевников. ЛИЛАСЬ РЕКА	47

ПЯТЬ РАССКАЗОВ

Составитель Л. М. Наточанная

Редактор Л. М. Наточанная

Технический редактор О. Н. Ласточкина

Сдано в набор 29.08.83. Подписано к печати 20.10.83. А 00735.
Формат 70 × 108^{1/32}. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная».
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,80. Учетно-изд. л. 4,17. Тираж
100 000 экз. Изд. № 2702. Зак. № 1373. Цена 25 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, ГСП, Москва,
А-137, ул. «Правды», 24.

ЛОТЕРЕЯ «СПОРТЛОТО»

● Свыше 200 спортивных сооружений построены и реконструированы с участием средств, вырученных от продажи билетов спортивно-числовой лотереи «Спортлото». Сотни тысяч человек получили возможность систематически заниматься физкультурой и спортом, укреплять свое здоровье в немалой степени благодаря помощи спортивной лотереи.

● Тиражи лотереи «Спортлото» проводятся по субботам. В них разыгрываются денежные суммы от трех до 10 000 рублей. Каждый билет играет двумя вариантами (комбинациями) номеров и является выигравшим, если с результатами тиража совпадут не менее трех номеров в одном из вариантов.

● Все билеты бестиражные. Их можно заполнить на любой тираж года и даже на несколько тиражей вперед.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

**Главное управление спортивных лотерей
Спорткомитета СССР**